

ОРГАНЪ РУССКОЙ РЕЛИГІОЗНОЙ МЫСЛИ.

подъ редакціей Н. А. БЕРДЯЕВА, при участіи Б. П. ВЫШЕСЛАВЦЕВА.

Въ предшествующихъ книжскахъ «Пути» были напечатаны статьи слъдующих авторовъ: Н. Н. Алексъева, П. Ф. Андерсона, Н. С. Арсеньева, М. Артемьева, П. Аршанбо (Франція), Н. Афанасьева, С. С. Безовразова, Е. Беленсонъ, Н. А. Бердяева, П. Бицилли, Н. Бубнова, прот. С. Булганова, Р. Вальтера, Б. П. Вышеславцева, Франка Гавена (Америка), М. Георгієвскаго, Н. Н. Глубоков-И. Гофштеттера, В. Гриневичъ, Іеромонаха Жиллэ, Л. А. Зандера, В. А. Зандера, Н. Зернова, В.В. Зъньковскаго, свящ. А. Ельчанинова, П. Н. Иванова, Ю. Ивасека, В. Н. Ильина, А. Карпова, Л. П. Карсавина, А. Карташева, Н. А. Клепинина, С. Кавертца (Америка), К. Керна (Англія), Л. Нозловскаго (†). (Польша), Г. Г. Кульмана, Т. Ц. Ку (Китай), М. Нурдюмова, А. Лазарева, И. Лаговскаго, Ф. Либа (Базель), Н. О. Лосскаго, Ж. Маритена (Франція), К. Мочульскаго, Я. Меньшикова, П. И. Новгородцева (†), прот. Налимова (†), С. Олларда (Англія), А. Погодина, Р. Плетнева, А. Полотебновой, А. М. Ремизова, Д. Ременко, Русскаго Инока (Россія), Ю. Сазоновой, графа А. Салтыкова, Н. Сарафанова, Е. Скобцовой, И. Смолича, В. Сперанскаго, Ө. А. Степуна, И. Стратонова, В. Сеземана, П. Тиллиха (Германія), Н. Тимашева, С. Троицкаго, кн. Г. Н. Трубецкаго (†), Н. Тургеневой, Н. О. Федорова (†), Г. П. Федотова, свящ. Г. В. Флоровскаго, С. Л. Франка, прот. С. Четверикова, Д. Чижевскаго, В. Эккерсдорфа, Г. Эренверга (Германія), свящ. Г. Цеврикова, Л. Шестова, кн. Д. Шаховского (теромонаха Тоанна), аббата Августина Якувизіака (Франція).

10,BD. MONTPARNASSE, PARIS (XV).

Цъна 37-го номера: долл. 0,60. Подписная цъна — въ годъ долл. 2,25 (6 книгъ). Подписка принимается въ конторъ журнала.

Nº 37.

ФЕВРАЛЬ 1933

Nº 37.

ОГЛАВЛЕНІЕ:	стр.
1. Прот. С. Булгаковъ. — На путяхъ догмы	. 3
2. В. Зъньковскій. — Проблема красоты въ міросозерцані Достоевскаго	. 36
3. С. Франкъ. — Основная идея философіи Спинозы (къ 300 лътію его рожденія))_
4. А. Полотебнова. — Изъ италіанской религіозной жизни	1.
Ассизы. — О космическомъ ритмъ Евангелій	
6. Новыя книги: К. Мочульскій. — А. Бергсонь («Le deux sources de la morale et de la religion»); H. Aфа	es
сьевь. — А. Карташовъ. На путяхъ къ вселенском	
собору Приложеніе: Свящ. Г. Флоровскій. — ПРОБЛЕМАТІ	. 88 / I-
КА ХРИСТІАНСКАГО ВОЗСОЕЛИНЕНІЯ.	



на путяхъ догмы (*)

(Послѣ семи вселенскихъ соборовъ).

Когда требуется начертать догматическій ликъ православія, оно опредъляется прежде всего, какъ церковь 7-ми вселенскихъ соборовъ. Это опредъленіе, конечно, отнюдь не исчерпываеть всей догматики православія, но въ немъ выражается его отношеніе къ самому основному вопросу христіанской въры: кого Мя глаголють народы быти? (Лк. 9, 18). Есть живой и нерукотворный образъ Христа, запечатлѣнный въ Четвероевангеліи, и есть догматическая его же прорись, богомудро начертанная въ опредъленіяхъ 7 вселенскихъ соборовъ. Они установляютъ священную ограду и непреложную основу для церковнаго богословія въ вопросахъ христологіи. Ошибочно понимать соборы какъ нѣкіе священные оракулы, изрекавшіе каждый въ отдѣльности свое опредѣленіе. Напротивъ, соборы должны быть уразумѣваемы въ своей связи какъ единая комплексная величина, причемь отдъльныя ея части вовсе не равнозначны, хотя и включены въ общій догматическій смыслъ. Такъ, второй соборъ неравнозначенъ первому, третій, и особенно пятый, четвертому или щестому,

^{*)} Актовая рѣчь въ Православномъ Богословскомъ Институть въ Парижѣ въ 1932 году. — Документированіе и полнѣйшее раскрытіе мыслей, здѣсь выраженныхъ, дается въ изслѣдованіи: «Діалентика идеи богочеловѣчества въ святоотеческую эпоху».

и свое особое мъсто принадлежитъ седьмому собору. Если сравнить содержание ихъ догматическихъ опредъленій, то опредъленія однихъ изъ нихъ имъютъ основное значеніе, какъ никейскаго или халкидонскаго, другихъ же лишь историческиинструментальное, вспомогательное, какъ Кирилловскіе анавематизмы Ефесскаго собора или, тъмъ болѣе, отверженіе «трехъ главъ» на V соборѣ. Кто же теперь будеть, въ самомъ дѣлѣ, мѣрить свое православіе отнощеніемъ къ ученію хотя бы Ивы Ефесскаго! Надо ясно различать и въ самихъ соборныхъ опредъленіяхъ (не только каконическихъ, но даже и догматическихъ), что принадлежить историческому моменту во всей его діалектической односторонности (это относится, конечно, болѣе всего, къ III и особенно V вселенскимъ соборамъ), и что есть κτημα είς ἀεί, прозрачные догматическіе кристаллы, им'єющіе вселенскую, сверхъ историческую значимость. Таковы, конечно, Никейское опредъление объ единосущи Отцу Сына δμοούσιος, Халкидонско-Константинопольское объ единствъ упостаси при нераздъльности и несліянности двухъ природъ и воль.

Исторически догматы кристаллизовались изъ богословія эпохи съ ея проблематикой, являясь отвътами на эти вопрощанія. Поэтому они не могуть быть поняты въ отрывъ отъ богословія, въ свою очередь связаннаго и съ философіей эпохи. Слово ап. Павла: «подобаетъ разномысліямъ быти между вами да откроются искуснъйшіе» — выражаеть историческое становленіе догматовъ изъ вопрошаній недоумъвающей, колеблющейся, провъряющей, сомнъвающейся, сверлящей богословской мысли, которой несвойственна неподвижность и спячка. Разсматриваемое съ человъческой стороны, дъло 7 вселенскихъ соборовъ было величайшимъ напряженіемъ и подвигомъ б о г о с л о вст в о в а н і я, въ своемъ родъ не имъющаго се-

бъ равнаго въ исторіи церкви. Однако есть коренное различіе между догматомъ, какъ кристаллизовавщейся догматической истиной, и богословіемъ, какъ той общей атмосферой мысли, въ которой онъ отлагается. Догматъ есть вдохновеніе Духа Св., богословіе же есть дѣло человѣческой мысли, просвътляемой върою и благодатію. Догматическое развитіе осуществляется творчествомъ богослововъ, среди которыхъ есть отцы и учители церкви, есть и осужденные ею еретики. И тъ и другіе богословски одинаково соучаствують въ общемъ дѣлѣ догматическаго творчества и обычно даже другъ друга взаимно обусловливаютъ его діалектическомъ процессъ. Съ этой точки зрънія тѣ и другіе одинаково суть богословы, которые обладаютъ различной степенью богословской одаренности и остроты мысли. Нелъпо и ощибочно представлять себъ дъло такимъ образомъ, что одни, — именно учители Церкви, обладали даромъ богословскаго ясновидѣнія, почему ихъ творенія иногда фактически приравниваются чуть-ли не догматамъ и даже Слову Божію, другимъ еретикамъ, усвояется только злая воля къ противленію истинъ. Слъдуеть ясно различать церковную авторитетность отцовъ церкви отъ ихъ богословскаго значенія и не подмѣнять чисто богословской аргументаціи мнимо-непогръщительными текстами изъ отеческой письменности. Это само собою разумъется въ церковноисторической наукъ, но это часто забывается и фактически даже отвергается въ догматикъ, которая, однако, столько же повинна исторической правдъ, какъ и исторія. Догматы возникають не изь сопоставленія непогрѣщительныхъ отеческихъ текстовъ, каковая непогрѣшительность на самомъ дѣлѣ принадлежитъ единственно и исключительно Слову Божію, но изъ всего богословія эпохи съ его апоріями и проблематикой. И исторически догматика вселенскихъ со-

боровъ возникаетъ въ процессъ богословскаго преодолѣнія апорій и діалектическихъ противоположеній, намфчающихся въ мыслительной реализаціи основныхъ данностей христіанской вѣры, причемъ всв онъ сводятся къ единой и всеобъемлющей евангельской истинъ: Христосъ есть Сынъ Божій — Сынъ Человъческій. Соединить несоединимое, приблизить разстоящееся, примирить противоръчащее, понять это единство и какъ бы отожествленіе Бога и Человѣка въ Богочеловѣкѣ — такова эта трудность для богословствующаго разума, такова эта, въ богословіи именуемая христологическою, проблема, которой никакъ не могла миновать богословская мысль, и, если бы даже она была замолчана православными, то все равно была бы обострена еретичествующими. Да такъ на самомъ дѣлѣ и было. Два имени, оба осужденныхъ церковію еретиковъ, означають собою вѣхи въ развитіи христологической проблемы: пресвитеръ Арій и еп. Аполлинарій. Вопрошаніе перваго относится къ божественной природъ Господа, второго же къ Его Богочеловъчеству.

Сомнѣніе Арія относительно равнобожественности Сына, продолжающее собою ученіе евіонитовъ, Павла Самосатскаго, въ извѣстномъ смыслѣ динамическихъ монархистовъ, естественно и неизбѣжно возникло на пути усвоенія троичнаго догмата, который представляеть собой подразумъвающееся основание для всего евангельскаго благовъстія, но противорѣчитъ одинаково и абстрактиому іудейскому монотензму, и, съ другой стороны, не менъе абстрактному теизму Аристотеля, какъ стоическому пантеизму, неоплатоническому эманатизму, вообще всъмъ традиціямъ эллинскаго любомудрія: эллинамъ соблазнъ, іудеямъ безуміе. Какъ возможна и возможна-ли равнобожественность трехъ упостасей предъ лицомъ разума, а также и по даннымъ Слова Божія? Антитрини-

тарное сомнѣніе Арія, если и не было преодолѣно спекулятивно, было обезсилено небеснымъ громомъ Никейскаго оргобою, каковая побъда была закрѣплена въ догматическихъ формулировкахъ каппадокійскаго богословія. Мертвящее аріанское сомнъніе фактически обогатило церковь несокрушимой оградой никейскаго символа. Аріанское сомнѣніе, впрочемъ, имѣло еще и другое остріе, космологическое: вопрошалось, какъ понимать отношеніе Бога къ сотворенному Имъ міру, или абсолютнаго къ относительному, въчнаго къ временному, Творца къ творенію? И не постулируется ли здѣсь нѣкое посредство между Богомъ и тварію? Этотъ вопрось въ свое время остался по настоящему неразслышанъ въ богословіи, а потому и неотвъченъ въ догматъ, какъ остается онъ даже и до дне сего. Но онъ снова возвращается къ намъ, съ одной стороны, въ пантеистическихъ уклонахъ философіи, а съ другой въ софіологической проблематикъ и построеніяхъ въ предълахъ церковной догмы. Каждая эпоха способна понести только ограниченный подвигь, и достаточно было для Аванасіева вѣка уже Никейской побѣды надъ отрицающими единосущіе Отцу Сына Божія, чтобы ею и ограничиться въ догматическомъ творчествъ, оставивъ въкамъ грядущимъ проблемы софіологической космологій. Но уже преодольніе аріанскаго сомнънія объ единосущій Отца и Сына съ необходимостью влекло за собой дальн вишее раскрытіе христологической проблемы: если стосъ есть подлинно единосущный Сынъ Божій, то въ какомъ же смыслѣ Онъ есть и Сынъ Человъческій? что значать боговъщія слова Евангелиста-Богослова: «Слово плоть быть»? Вся эта, собственно христологическая, проблематика полностью содержится въ ученіи еп. Аполлинарія (младшаго) Лаодикійскаго, который, будучи заклеймленъ, какъ еретикъ, въ то же время является едва ли не са-

мымь тонкимъ и острымъ богословомъ всей христологической эпохи, наложивщемъ на нее печать въ самомъ существенномъ, — именно въ проблематикъ богочеловъчества. Аполлинарій, въ значительной мфрф непонятый своими современниками, и, быть можеть, самь не нашедщій адэкватнаго выраженія для своей мысли, есть истинный зачинатель христологическаго богословія. Въ отнощеніи къ нему самоопредъляются позднъйшіе богословы, продолжающіе его работу, его ученіе занимаетъ здѣсь ключевую позицію. Основнымъ его мотивомъ является стремленіе понять возможность и образъ соединенія божескаго и человъческаго естества во Христъ и выразить его въ богословскихъ понятіяхъ. Онъ исходитъ при этомъ изъ отрицательной аксіомы, въ дальнѣйшемъ подтвержденной церковыю, о томъ, что въ полнот ѣ с в о е й человъческое и божеское естество н е можетъ соединиться, а потому имъ остается лищь переплестись между собою какъ бы отдъльными частями. Это соединение ихъ онъ понималъ такимъ образомъ, что человъческое тъло и дуща, «одущевленное тѣло», фактически соединяется съ Логосомъ въ качествъ Духа (πνεῦμα). Если надлежащимъ образомъ понять здѣсь Аполлинарія, то въ сущности онъ предвосхищаетъ уже Халкидонскій догмать, также утверждающій воспріятіе Логосомъ человъческой природы безъ ея собственной упостаси, каковою является для объихъ природъ самъ Логосъ. Эта основная мысль осложнена у него рядомъ другихъ мотивовъ, частью въ высшей степени цѣнныхъ, какъ напр., о небесномъ человѣкѣ и богочеловъчествъ, частью же недоразумънныхъ, какъ напримъръ мысль о томъ, что человъчность можеть преодолѣвать въ себѣ удобопревратность только цѣною утраты свободы, чрезъ инструментальное подчинение ея неизмѣняющемуся ἄτρεπτος Логосу. Идея богочеловъчества въ этомъ рудиментарномъ видѣ, какъ она была выражена Аполлинаріемъ, къ тому же и оставшаяся непонятой даже до удивительности, своей парадоксальностью испугала современниковъ. Тѣмъ не менѣе, она уже поставила мысль передъ проблемой недомыслимаго соединенія двухъ природъ, относительно котораго доселѣ удовлетворялись неопредѣленнымъ и маловразумительнымъ понятіемъ «в о с п р і я т і я плоти». Теперь возникла труднѣйшая и мучительная проблема: что же значитъ это воспріятіе Богомъ человѣческой плоти, какъ уразумѣвать его основаніе и послѣдствія?

Отъ Аполлинарія, обнажившаго двойства природъ й единства упостаси во Христъ во всей остротъ, исходитъ христологическая діалектика въ двухъ своихъ антитетическихъ, взаимно сопряженныхъ, а въ односторонности своей взаимно исключающихъ началахъ, — единства и двойства, какъ въ тезисѣ и антитезисѣ. Тезисъ мы им въ александрійской школ в генотическаго богословія, исходящаго изъ единства Богочеловъка, антитезисъ въ антіохійской школъ, останавливающей свое вниманіе на началѣ д в о йства въ Немъ же. Въ ряду первыхъ мы имъемъ, въ качествъ великаго основоположника, св. Кирилла Александрійскаго, причемъ генотическія тенденціи его богословія — уже съ еретическими уклонами — продолжаются въ пестромъ спектрѣ монофизитства. Вторые представлены блестящей плеядой богослововъ-антіохійцевъ, отъ Өеодора Тирскаго до блаж. Өеодорита, продолжаемой въ сущности и богословами дивелитства, св. п. Софроніемъ и св. Максимомъ Исповъдникомъ. Этому богословскому противоположенію соотв'єтствуєть доктринальная окраска вселенскихъ соборовъ, III и V — съ ръшительнымъ преобладаніемъ александрійскихъ тенденцій, IV и VI съ преобладаніемъ антіохійскихъ. При этомъ объ стороны одинаково

отрицаются аполлинаріанства, причемъ одна сторона, александрійская, въ немъ неизмѣнно заподозривается и въ немъ оправдывается, вторая же, антіохійская, отъ него неизменно отталкивается, причемъ фактически объ онъ одинаково, хотя и въ разкомъ смыслѣ, запечатлѣны его духомъ, поскольку движутся въ руслѣ его проблематики. Именно, объ стороны спрашивають одинаково вопрошаніемъ Аполлинарія: какъ возможно, какъ совершилось, къ чему привело соединение двухъ природъ во Христъ? Св. Кириллъ установляющій александрійскую традицію, исходить изъ идеи поглощающаго генотизма или генотическаго смѣшенія. При этомъ въ самомъ св. Кириллъ необходимо различать какъ бы два лика: отца церкви, который, повинуясь какъ бы нѣкоторому церковному инстинкту, неизмѣнно держится въ предѣлахъ православія, хотя и не всегда оправдываемаго его собственнымъ богословіемъ, — и богослова, представителя александрійской школы, на которомъ тяготъетъ вся ея діалектическая односторонность и ограниченность, преодолѣваемая сплошь и рядомъ лишь непоследовательностью. Согласно св. Кириллу, Христосъ — одинъ, составившійся и зъ єк двухъ природъ. Различіе ихъ хотя и не устраняется чрезъ ихъ единеніе, но остается лишь έν θεωρία μόνη, и его не допускается различать въ одномъ лишь созерцаніи. Воплотившійся Логосъ не раздъляется, но сочетаетъ объ природы воедино и какъ бы смѣшиваетъ асприя однѣ съ другими свойства природъ (отсюда прямой путь и къ Евтихію, и къ Северу). Эта генотическая тенденція увѣнчивается мнимо-а ванасіевской, въ дѣйствительности же аполлинаріевской формулой μία φύσις τοῦ θεοῦ Λόγου σεσραφώνη, κοτοργιο принялъ въ руководство св. Кириллъ. Она характерна не только общимъ монофизитскимъ привкусомъ, но и своей двусмысленностью, проистекающей изъ

терминологическаго, а далже и богословскаго неразличенія природы и лица-упостаси. Богословіе св. Кирипла и возникло, и развивалось полемически, а постольку и діалектически въ противоположеніи антіохійству: противъ раздвоенія здѣсь утверждалось единство, но какъ совмъстить тъснъйшее единеніе человъческой и божеской природы съ сохраненіемъ самобытности послѣдней и наобороть? Евангельскій образь Сына Божія — Сына Человъческаго представалъ предъ богословіемъ св. Кирилла, какъ безотвътная проблема, которою бл. Өеодорить, можно сказать, богословски истязаль своего противника. Какъ Богу можно приписать геосиманское бореніе и крестное истощаніе, голодъ и жажду, невъдъніе и изнеможеніе, страданіе и крестную смерть? Для антіохійствующаго богословія отвъть быль ясень, — все это свойственно человъку въ Богочеловъкъ, но для генотическаго пониманія не такъ легко давалось такое, конечно, мнимое преодолѣніе. Оставалось спасаться въ область «икономіи», которымъ тѣмъ самымъ становилось богосновскимъ asylum ignorantiae. Подъ защитой икономіи можно было, въ качествь богословскаго отвъта, соединять явныя противоръчія и несовмъстимости: «приписывать истощаніе Богу Слову, который не знаеть превращенія или страданія, значить заключать и говорить нѣчто о человъкъ по домостроительному присоединенію къ плоти. Хотя Онъ и сділался человікомъ, однако сущность таинства никоимъ образомъ не вредить Его природъ. Онъ пребываль тъмъ же, что и быль, даже и отдаваясь человъчеству для спасенія и жизни міра... мы не уменьшаемъ божественное Его естество и славу міра... мы не уменьшаемъ Его божественное естество и славу ради Его человъчества и не отвергаемъ домостроительства» и т. д. Не трудно видъть, что если обнажить это и подобныя ръченія, каковыя имьются

во множествъ въ твореніяхъ св. Кирилла, отъ ихъ многословія, то они содержатъ явное и неприкрытое логическое противоръчіе: подлинно вочеловъчился, но не измънился, пребываетъ чъмъ былъ, но истощавается на крестъ и под. Когда же изъ этого абстрактнаго разсмотрѣнія переходимъ къ конкретному, если напр., вплотную ставится вопросъ о въдъніи или невъдъніи Христомъ дня Второго пришествія, то противор вчивость мысли получаетъ уже наклонъ къ докетизму: «знаетъ самь по существу, какъ Премудрость Божія, но ставится подъ уровень невъдающаго человъчества, домостроительственно совершаеть то, что ственно и другимъ». «Онъ не отстраняетъ отъ Себя казаться незнающимъ, ибо это приличествуетъ человѣку» и т. д. Допустить такія манифестаціи человъчества для вида значитъ широко открыть дверь и монофизитству, и докетизму, въ сравненіи съ которыми предпочтительнъе даже прямое аполлинаріанство, и это есть не случайное недоразумѣніе, но основная апорія генотическаго богословія, непреодолѣнная и по настоящему даже еще не осознанная въ фактическихъ предълахъ одного тезиса. Поэтому совершенно законно и неизбъжно возникаеть діалектическое ему противоположеніе антитезисъ, въ образѣ антіохійскаго богословія, которое было въ догматической борьбъ стилизовано противниками какъ «несторіанство», хотя фактически въ такомъ стилизованномъ видѣ никогда и не существовавшее. Антіохійство въ христологіи выражаеть проблематику двойства природъ во Христъ и образа ихъ соединенія. Оно одинаково отталкивается какъ отъ аполлинаріанства, въ которомъ видитъ компромиссное и нерѣщительное упраздненіе человъчества во Христь чрезъ его ущербленіе и умаленіе, такъ и отъ кирилловскаго генотизма, въ которомъ видитъ поглощение человъчества Божествомъ. Особый источникъ вдохно-

веній антіохійскаго богосновія есть павось библеизма, свойственный его экзегетическому стилю: оно непрестанно созерцало Евангельскій образъ Христа во всей его конкретности и считало себя повиннымъ богословствовать, исходя не изъ богословскихъ отвлеченныхъ понятій, но изъ Евангелія. Отстоять ченовъческое естество во всей неумаленной самобытности его становится главнымъ богословскимъ дѣломъ антіохійства, откуда вытекаетъ потребность и богословски обосновать защитить двойство, несліянность и непоглощаемость природъ, ихъ между собою раздѣлить извъстной онтологической гранью. Таковою гранью является особая упостась, присущая не только божескому, но и человъческому естеству. Насъ эта мысль, конечно, отвращаеть, но не нужно забывать, сколь примитивны и неуклюжи вообще были богословскія средства эпохи. Двойство природъ превратилось у нихъ въ двойство лицъ, и самыя понятія природы и упостаси суть какъ бы косари и кухонные ножи въ качествъ хирургическихъ инструментовъ. Извъстно, какой дорогой цѣной они оплатили свою тенденцію: двойство природъ превратилось у нихъ въ двойство лицъ. Они не умъни и не хотъли отдълить природу отъ уностаси и допустить въ человъческой природъ Христа отсутствіе самостоятельной человъческой vпостаси. Безъvпостасность ея для нихъ была равносильна отсутствію подлинной самобытности. Поэтому для пихъ оставался единственно открытымъ путь признанія сложной упостаси, полученный чрезъ нравственное свободное согласіе и іерархическое соотношеніе обоихъ упостасей, свойственныхъ обоимъ природамъ, συνάφεια — совмѣщеніе. Нужно, однако, сказать, что антіохійцы вообще никогда не останавливались на двойствъ упостасей, какъ послъднемъ утверждени, напротивъ, оно поступировало для нихъ особую у постась

е д и н е н і я, какъ результатъ нѣкоего нравственнаго достиженія. Можеть быть, съ наибольшей полнотой, хотя и немотствующимь языкомь, этоть постулать выразиль Несторій вь предсмертномъ своемъ «Гераклидъ», написанномъ въ безвъстности изгнанія. Конечно, богословски поступать невыполнимь и остался невыполнень, впрочемъ, въ такой же мъръ, какъ остался невыполненъ и основной постулатъ александрійства о сохраненіи двойства природъ въ ихъ единствъ. Богословски оказались одинаково правы и неправы объ стороны, какъ тезисъ и антизезисъ, еще ждущіе богословскаго синтеза. Антіохійцы не знали, что основной постулать ихъ богословія можеть быть выполненъ и инымъ путемъ, нежели тотъ, который представлялся какъ единственный, именно такъ, какъ это и было осуществлено церковью: человъческая природа и на самомъ дълъ н е остается безъупостасна. Она также имфетъ для себя упостась, но это не есть особая упостась, но божественная упостась Логоса. Онъ въ Богочеловъчности Своей упостасируеть не только Свою божескую, но и Свою человъческую природы, есть какъбы дважды-упостась единаго Богоэтотъ отвътъ болъе всего гочеловъка. Именно предчувствуется въ Гераклидовской *vnocmacu* единенія, — не даромъ Несторій изгнанія, свободный отъ полемическаго ожесточенія (его противникъ, св. Кириллъ въ то время былъ уже въ могилѣ) привѣтствуетъ посланіе папы Льва В. и тѣмъ самымъ уже вливается своимъ богословіемъ Халкидонское русло. Объ спорящія стороны въ христологической діалектикъ остались непримиренными и непревзойденными, да и не могли примириться въ плоскости антитетики, — прямого противоположенія тезиса и антитезиса. Объ стороны приводили въ свою защиту библейскіе тексты, объ были одинаково правы и неправы, хотя и въ

разномъ. Богословская пря такъ и осталась неразръщенной. Внъшнія же судьбы объихъ школъ были различны и какъ то мало соотвътствовали ихъ фактической вліятельности. Богословіе св. Кирилла, прославленнаго Церковію какъ σφραγίς τῶν πατέρων, было признано какъ руководящая норма церковнаго ученія, причемъ на него ссылались одинаково какъ его сторонники, такъ и противники (особенно характерно въ Халкидонъ), реальное же продолжение его богословская школа имъла лишь въ монофизитствъ. Антіохійская же школа какъ будто терпъла поражение за поражениемъ: была ана вематствована на Кирилловскомъ соборъ въ Ефесъ въ лицъ Несторія и была осуждена и заклята въ лицъ трехъ своихъ представителей (Өеодора Монсуестійскаго, Ивы Эдесскаго и блаж. Өеодорита) и ихъ «трехъ главъ». И однако ея дъйствительное вліяніе было гораздо жизненнъе и значительнъе александрійскаго: послъ Кирилловской побъды въ Ефесъ антіохійство восторжествовало надъ своимъ главнымъ противникомъ св. Кирилломъ, капитулировавшимъ богословски въ уніональномъ посланіи къ Іоанну Антіохійскому 433 года. Послѣ «разбойничьяго» Діоскоровскаго собора, гдѣ было дано торжество александрійству въ уродливой формѣ евтихіанства, антіохійство снова получило реальное преобладаніе въ Халкидо-нъ. Запрещенное на V вселенскомъ соборъ, оно нашло своимъ тенденціямъ новое, хотя и въ видоизмъненной формъ, преобладаніе на VI вселенскомъ соборъ. А въ сущности объ школы, сыгравъ свою историческую роль, одинаково сощли со сцены послъ Халкидонскаго собора, изжили себя, потерявь свой raison d'etre. Однако было-ли здѣсь богословское ихъ преодолѣніе или же лишь догматическое, въроучительное? Была ли одержана иною изъ школъ богословская побъда, тою или доктринально решившая вопрось и этимъ решеніемъ упразднившая другую школу? Безпристрастное изслѣдованіе должно сказать, что этого не было: объ школы стоять другь противъ друга въ антитетическомъ противоположеніи, какъ да и нътъ, объ правы и объ неправы въ діалектической полярности своей. Не можеть быть раздвоенія природъ при единствъ упостаси въ Богочеловъкъ, говорить тезись александрійства; не можеть быть двойства природъ безъ двойства упостасей, ибо для каждой природы предполагается наличіе собственной упостаси, — говорить антитезись антіохійства. Есть - ли выходъ изъ этой антитетики, возможенъ-ли синтезъ, который бы ее превзощелъ и въ извъстномъ смыслъ «снялъ» (aufgehoben по Гегелевски)? Или же такой синтезъ вообще невозможенъ, и мы имѣемъ здѣсь предѣльную для разума антиномію, которая разсудочно выражается просто въ логическомъ противоръчіи, т. е. приводится къ абсурду, какъ это злорадствуя и утверждаетъ раціонализмъ? Богословскаго синтеза найдено не было, объ школы изжили себя, одна склоняясь подъ тяжестью анаоематизмовъ V вселенскаго собра, другая подъ бременемъ монофизитскаго своего истолкованія, он просто прекратили фактическое существованіе, оставивъ исканіе синтеза будущимъ временамъ вмѣстѣ со своею проблематикой. Однако то, что не дано было богословскому синтезу, въ извъстномъ смыслъ черезъ головы богослововъ было явлено, въ предвосхищеніе будущихъ достиженій богословія, божественному инстинкту истины, вдохновенію отцовъ IV вселенскаго Халкидонскаго собора. Его опредъление явилось догматическимъ синтезомъ объихъ школъ: не богословствуя и съ царственной небоязненностью онъ сказалъ свое да, а потому и свое н в т ъ каждому изъ противоположныхъ утвержденій, антиномически соединивъ ихъ въ одномъ и томъ же опредъленіи, причемъ отцы собора одновременно прославляли и св. Кирилла, и антіохійствующаго патр. Флавіана, и папу Льва Великаго, какъ единомудрствующихъ. Гордіевъ узелъ христологіи оказался раз-

рубленъ, хотя и не развязанъ.

Въ рукахъ провидѣнія мечемъ, разрубившимъ гордіевъ узелъ, явилось догматическое посланіе папы Льва Вел. къ Флавіану, которое вмѣстѣ уніональнымъ послапіемъ св. Кирилла 433 г., гдь, какъ извъстно, глава александрійской школы самъ, хотя и противъ воли, антіохійствуетъ, легло въ основу халкидонскаго опредъленія. Это посланіе великаго іерарха, блещущее стилемъ, антитетикой, лапидарностью, представляеть собою славу Римскаго престола и обозначаетъ поворотъ въ сторону Халкидонскаго опредъленія. Здъсь уже выражена идея двойства природъ при единствъ vпостаси, которая составляеть главное его достиженіе и фактически соединяеть въ себѣ утвержденія обоихъ противоборствующихъ школъ. Однако, тоть, кто ожидаеть найти здъсь богословскій синтезъ, исходъ изъ христологической діалектики съ преодолѣніемъ ея антитетики, въ дѣйствительности его не найдетъ. Папа Левъ вообще самъ находится в н ѣ восточнаго богословія и съ латинской прямолинейностью и извъстной догматической неискушенностью декретируеть, не доказывая. Поэтому, при всемъ огромномъ значеній посланія для исторіи догмы, движенія богословской мысли оно не означаетъ. Доктринальное опредъленіе отыскивается ощупью, нѣкоторой религіозной (въ частности сотеріологической) очевидностью, которая еще не стала очевидностью богословской. «Для возданія должнаго нашему состоянію природа неповреждаемая соединилась съ природой, доступной страданію и, что требовалось для нашего спасенія, одинъ и тотъ же посредникъ между Богомъ и человѣкомъ, человѣкъ І. Христосъ и умереть могъ въ одномъ и не могъ умереть въ другомъ. Итакъ, въ цѣлостной и совершенной природѣ истиннаго человѣка родился Богъ, весь въ Своемъ, весь въ нашемъ», «съ сохраненіемъ свойствъ той и другой природы и сущности», однако, «при единствѣ лица, мыслимаго въ той и другой природѣ, именно лица Бога и человѣка», Dei et hominis una persona. То, что составляло предметъ мучительнаго вѣкового напряженія и неисходной трудности для богословія, здѣсь небоязненно, въ массивныхъ образахъ формулируется во всей своей антитетической обнаженности, и эта антиномія оказалась внѣдренной и въ самое опредѣленіе Халкидонскаго собора.

Халкидонская формула: «единый и тотъ же Христосъ въ двухъ природахъ», «при сохраненіи собственныхъ свойствъ каждой изъ нихъ», «соединяющихся въ одно лицо и въ одну упостась, не раздѣляющуюся на два лица» представляетъ собой не богословскій, но догматическій синтезь, хотя и существенно подготовленный всѣмъ предыдущимъ развитіемъ христологіи. Замфчательно, что во внъшней исторіи его происхожденія можно найти черты случайности: оно даже и возникло какъ бы номимо воли отцовъ собора, предпочитавщихъ остаться при посланіяхъ св. Кирилла и п. Льва и лишь подъ давленіемъ императорской власти составившихъ новое опредъление. Практическій Римъ, — а не умозрительный востокъ, вмъстъ съ имперской властью, непосредственно стимулировали это новое догматическое опредъленіе, явившееся какъ бы помимо воли и сознанія его непосредственныхъ творцовъ, среди которыхъ численно преобладали александрійствующіе, а не антіохійствующіе. Это было догматическое чудо, въ такой мъръ превышающее естественныя возможности догматическаго сознанія эпохи, что догмать

такъ и остается имъ не вмъщеннымъ, какъ это съ полной ясностью вытекаеть изъ дальнъйшей исторіи, въ частности, изъ монофизитскаго противленія. Но духъ дышеть, гдѣ хочеть, а Промыслъ избираетъ для своихъ цѣлей разные пути. Однако, Халкидонское опредъление явилось догматическимъ приказомъ, который оказалось не подъ силу осуществить тъмъ, кто еще продолжалъ богословствовать. Соединивъ въ одной формулъ александрійскій генотизмъ съ антіохійскимъ дифизитствомъ въ самомъ трудномъ вопросъ о соотнощеніи обоихъ природъ во Христѣ, божеской и человъческой, соборъ отвътилъ лишь отрицательнымъ, а не положительнымъ опредѣленіемъ, четырекратнымъ не: нераздъльно — несліянно, неизмѣнно-неразрывно, включивъ такимъ образомъ антиномію въ самое сердце догматическаго опредъленія. Получилось своего рода Колумбово яйцо догматики, которое требовалось утвердить въ равновъсіи на остріъ антиноміи. Это богомудрое опредъление представляетъ собою лишь ограду мысли, но не самую мысль, которая можеть быть дана лишь положительнымъ определеніемъ. Халкидонскій догмать есть не только высшая норма въроученія, по которой должно мърить себя церковное сознаніе, но онъ данъ человъческой мысли и какъ предъльная проблема богословскаго постиженія. Провидѣнію было угодно, чтобы догмать этоть возникь не изъ богословія, но какъ бы надъ богословіемъ, разныя школы котораго были для него лишь поводомъ, онъ высится какъ религіозный символъ для всѣхъ вѣковъ, и нашему времени онъ принадлежитъ не меньше, а даже и больше, чемъ эпохе своего возникновенія.

Тъмъ не менъе исторически онъ является взаимодъйствующей діагональю двухъ пересъ-кающихся перпендикуляровъ, и фактически является побъдой антіохійства надъ александрій-

ствомъ, послѣ кратковременнаго торжества послѣдняго въ Ефесѣ. И эту побѣду не обезсилило и то запоздалое торжество александрійства, которое дано было ему имп. Юстиніаномъ на V всел. соборъ, потому что запрещенное и авематственное антіохійство снова торжествуеть на VI всел. соборѣ, тогда какъ подлиннымъ вселенскимъ дѣломъ V всел. собора явилось лищь торжественное подтвержденіе четвертаго. VI вселенскій соборъ, вынесшій опредѣленіе о двухъ воляхъ и двухъ природахъ въ Христъ, такъ же нераздъльно, несліянно, неизмѣнно, неразрывно соединенныхъ, въ сущности даетъ болъе частное выражение Халкидонскаго опредъленія: если въ послъднемъ наличіе двухъ природъ констатируется какъ данность или фактъ, то здѣсь онѣ же выявляются въ дѣйствіи какъ актуальность. Послѣ Халкидонскаго собора напряженность богословской мысли вообще идетъ на убыль, и, въ частности, VI вселенскій соборъ (не говоря уже о пятомъ) является значительно менѣе подготовленнымъ богословски (*), и контроверза моновелитовъ съ православными (п. Софроній, преп. Максимъ Исповъдникъ) является въ большой мфрф схоластической и терминологической, причемъ самыя основныя понятія воли и энергіи такъ и остались безъ опредѣленія. Однако основная мысль догмата есть халкидонская, а постольку здѣсь мы имѣемъ новую побѣду антіохійства. Во всякомъ случат ръщительный бой за истину православія быль дань уже въ Халкидонъ, и константинопольское торжество VI собора является въ значительной степени послъдствіемъ Халкидонской побъды (**). Халкидонскій догмать быль

*) То же самле приходится сказать и относительно VII собора

по вопросу объ иконахъ.

^{**)} Въ извъстномъ соотношени къ Халкидонскому опредълению находится и канонъ VII вселенскаго собора объ иконопочитани, ибо догматически здъсь идетъ ръчь объ единомъ Богочеловъческомъ ликъ, свойственномъ единой упостаси двухъ природъ, объ образъ Божіемъ въ человъческомъ образъ въ Богъ.

и остается главной крѣпостью христологической догматики. Поэтому и вся полемика и сомнѣнія иновѣрія и инославія направляются въ эту сторону, отношеніе къ Халкидону выражаетъ собой характеръ богословскаго міровоззрѣнія и, вмѣстѣ

съ тъмъ, степень его православія.

Итакъ, на вопросъ Христа: за кого вы почитаете Меня?, на который Петръ отвътствовалъ исповъданіемъ своей религіозной въры: «Ты Христосъ Сыпъ Бога Живого», православіе даетъ догматическій отвѣтъ Халкидонской формулой: единая божеская упостась въ двухъ природахъ, нераздъльно, несліянно, неизмънно и неразрывно соединенныхъ. Оба отвъта, и въры, и догмы, конечно, тождественны по содержанію, съ той лишь разницей, что первый исходить оть полноты върующаго сердца, второй же отъ рефлектирующаго разума. Первому принадлежить религіозная самоочевидность непосредственнаго вдохновенія («не плоть и кровь открыли тебѣ это, но Отецъ Мой сущій на небесахъ»), второй же переводить ее на языкъ самоотчетной мысли, ему свойственна самоочевидность догматическая. Однако разница въ выраженіи истипы идеть еще и дальще: первый выраженъ на языкѣ всечеловъческомъ, для всъхъ доступномъ, второй же высказанъ богословски, для богослововъ, или, по крайней мъръ, для богословствующихъ, на языкѣ эпохи, и въ извѣстномъ смыслѣ нуждается въ комментаріи или переводъ. Въ самомъ дълъ, здъсь примънены выраженія, которыя им'єють условное, терминологическое значеніе, въ нихъ облечена, и ими, до извъстной степени, закрыта и самая мысль. Въ частности здѣсь предполагается, что основныя понятія: vnoстась, лицо, сущность, природа, употреблявшіеся въ христологическихъ спорахъ и примѣнявщіяся въ христологическихъ спорахъ Халкидона, для всъхъ понятны, и значение ихъ было само собою

разум вющимся и неизм виным в, по крайней м врв, для своей эпохи. Историческая же дъйствительность и здѣсь свидѣтельствуетъ обратное: именно существовала величайшая неточность и даже разность въ пониманіи и употребленіи этихъ основныхъ терминовъ на протяженіи в с е й христологической эпохи, начиная еще отъ Никеи и кончая послѣхалкидонскими спорами. Странно сказать, но непріятіе Халкидонскаго догмата монофизитами, какъ теперь полагаеть научное изследованіе, больше всего покоилось на терминологическихъ недоразумѣніяхъ. Даже для своего времени одна и та же формула получала различное значеніе, въ зависимости отъ того или иного пониманія терминовъ. Поэтому, какъ ни странно, апологія Халкидонскаго догмата оказывалась въ значительной мфрф и терминологической. Въ частности такъ велъ ее православный апологеть и вмѣстѣ родоначальникъ восточной схоластики Леонтій Византійскій (вмѣстѣ со своимъ современникомъ и родоначальникомъ западной схоластики Боэціемъ). Оба они разъясняють, такъ сказать, ex professo терминологическія выраженія: природа и упостась, и проистекающій отсюда смыслъ формулы: одна упостась — двѣ природы, которыя употреблялись какъ сами собою понятныя, а на самомъ дѣлѣ плодили безчисленныя недоразумѣнія. Схоластическіе эпи-гоны христологической эпохи становятся переводчиками, расшифровывающими темный и спорный смыслъ языка догматовъ. Наковъ же былъ этотъ шифръ? на какомъ языкъ говорились эти столь неточныя сами по себъ выраженія, какъ упостась и природа?

Это нифръ взятъ изъ философіи Аристотеля (преимущественн изъ его Метафизики), и этотъ языкъ вообще свойствененъ античной философіи въ его двухъ главныхъ и мощныхъ руслахъ, — платонизма и аристотелизма. И у по-

стась, и природа на языкъ соборовъ имѣють то значеніе, какое они имѣють у Аристотеля. Каково же это значеніе? Въ христіанской догматикѣ эти выраженія употребляются исключительно въ примѣненіи къ духовному міру и къ отношеніямъ между Богомъ и человѣкомъ, въ античной же философіи они относятся вообще ко всей области природнаго міра, въ которой безъ различенія соединяются сущности духовныя и бездушныя, живыя и мертвыя. Какъ говорить Леонтій, а ему вторить и Дамаскинь, понятіе сущности (она же и природа) объемлетъ: «и Бога, и ангела, и человѣка, и животное, и растеніе». Это есть общая абстрактная категорія для выраженія всѣхъ видовъ бытія. Однако по Аристотелю абстрактная сущность существуеть не иначе, какъ будучи облечена въ конкретность чрезъ присоединение какаго-либо индивидуализирующаго признака, акциденціи συμβεβηκός: не камень вообще, но гранить, известнякь, алмазь и под., не человъкь вообще, но Петръ, Иванъ, или негръ, мулатъ и т. д. Подлинное бытіе принадлежить лишь конкретнымъ сущностямъ, которыя поэтому у Аристотеля и получають наименованіе: первая сущность πρώτη ούσια, напр. Петръ Великій, Александръ Македонскій, а о б щ а я природа: человѣкъ, или русскій, или камень, или духъ, — есть лишь абстракція конкретнаго, в т о р а я сущность (въ этой терминологіи чувствуется заостреніе разногласія между Платономъ и Аристотелемъ объ универсаліяхъ или идеяхъ). Итакъ, упостась есть только признакъ, свойство, акциденція, а сущность есть нѣкій аггрегать свойствь, образующій собою нѣкое цълое. Изъ этого опредъленія уже слъдуеть для Леонтія Виз. основная оптологическая нфть природы безъупостасной. Это значить лишь, что все въ природѣ конкретно, облечено индивидуализирующими признаками. По опредъленію Л.

В. «характеръ упостаси заключаетъ въ себъ понятіе акциденцій, будуть ли он отдълимы или неотдълимы. Упостась характеризуется фигурой, цвътомъ, величиной, временемъ, мъстомъ, родителями, образомъ жизни и вообще всѣмъ, что къ этому относится, свойства же природы принадлежатъ тому, что относится къ самой сущности». Поэтому индивидамъ или аторог присуще самостоятельное бытіе по себѣ (καθ'έαυτὸν), различающееся и по числу. Въ это же физическое понятіе упостаси довольно неожиданно включается иногда и лиπρόσωπον какъ равнозначащее (такъ и въ Халкидонскомъ опредъленіи). Но это понятіе лица, переходящее уже въ духовную область, никогда не было углубляемо и не получало своего разъясненія въ аптичности, которой вообще чуждо философское понятіе личности, иное нежели какъ атома — индивида. Однако мертвою аристотелевскою схемой здъсь богословски облекается живой Евангельскій образъ, такъ что и сама она начинаетъ оживать и согрѣваться отъ него, по существу однако отнюдь не измѣняясь. Л. В. измыслилъ для нуждъ богословія, наряду съ простымъ и яснымъ, хотя и скуднымъ попятіемъ Аристотелевской «первой сущности», соединяющей въ себъ природу съ индивидуальнымъ признакомъ или упостасію, еще понятіе сложной природы, въ которой двъ разныхъ природы сосуществуя индивидуализируются въ одномъ, общемъ для обоихъ vпостасномъ признакъ или, по его выраженію, немъ во-упостасируются. Получается еще второй этажъ онтологически сложнаго бытія. Понятіе во-упостасированія подлогической критикъ въ основномъ лежить какомъ основаніи пунктъ: B \mathbf{B} на единомъ конкретно-упостасированномъ бытіи признаются двъ различныхъ природы, а не одна, объемлющая въ себъ совокупность признаковъ

мнимыхъ двухъ природъ? Здѣсь совершается явное злоупотребление понятиемъ природа, совершенно изъ него самого неоправдываемое. Но эта вспомагательная логическая конструкція является для Леонтія Византійскаго мостомъ къ логическому пріятію Халкидонскаго догмата, торый черезъ нее истолковывается уже такъ: хотя нѣтъ природы неупостасной, и при наличіи двухъ природъ во Христѣ человѣческая природа остается какъ будто неупостасной, однако на самомъ дълѣ она во-упостасируется во упостась природы Божественной. Такимъ образомъ достигается желанный результать: объ природы оказываются vпостасны, причемъ одна природа имѣетъ свою собственную упостась, другая же лищь воупостасирована въ эту чуждую для нее упостась. Нетрудно видъть всю логическую произвольность этого заключенія, которое цъликомъ держится на томъ предположеніи, что объ соединившіеся природы и въ этой сложности своей еще сохраняють свою раздѣльность и самобытность. Но это именно здѣсь и требуется доказать. Монофизиты болѣе послѣдовательно приходили къ заключенію, что объ природы существують въ своемъ двойствъ лишь до соединенія, а послѣ него онѣ образують, хотя и сложную, но единую природу.

Такимъ образомъ, что же обозначаетъ, въ истолкованіи Леонтія Византійскаго и І. Дамаскина халкидонская формула: двѣ природы и единая упостась? Это значитъ принадлежность одного индивидуальнаго признака или свой тва, именно сыновства или рожденности отъ Отца, двумъ разнымъ совокупностямъ признаковъ или природамъ. Если сама халкидонская формула даетъ (по выраженію англійскаго богослова В исе) лишь анатомію догмата, то Леонтій Византійскій его алгебраизируетъ: А В + С) и этимъ, конечно, не раскрывается, а скорѣе закрывается сущность догмата. И даже

формально можетъ быть здёсь еще поставленъ вопросъ: почему именно А является общимъ признакомъ для В и С, а не какое нибудь N? И, съ другой стороны, почему именно А связано съ В и С? Но помимо этихъ формальныхъ недоумъній, мы спращиваемъ себя уже по существу такого метода: пріемлемо ли для насъ это формально аристотелевское уразумѣніе основного христіанскаго догмата, какое дается намъ у Леонтія Византійскаго? Есть ли для насъ соединеніе двухъ природъ съ одною упостасію механическое соединеніе свойствъ, аналогичное всякому другому соединенію, и въ этомъ смыслъ вещная категорія, въ которой совершенно не уловляется особый характеръ духа, живущаго въ разныхъ природахъ? На этотъ вопросъ мы можемъ отвѣчать только рѣщительнымъ и категорическимъ н в т ъ . Для насъ необходимо понятіе личнаго духа, мы мыслимъ въ категоріяхъ личности, тамъ, гдѣ античность, какъ и патристическая мысль, имфють лишь категорію вещи. Рѣчь идеть не объ алгебрѣ или даже только анатоміи, но объ единой личности, живущей двоякой жизнью, божеской и человъческой. Почему и какъ божеская упостась Логоса, Второе Лицо Св. Троицы, можетъ одновременно быть упостасію и человъческою, въ чемъ есть не формальное, но реальное, внутреннее для этого основание? Словомъ, предъ нами встаетъ во весь ростъ проблема богочеловъческой личности и богочеловъческой жизни, т.е. проблема богочеловъчества, живой образъ котораго мы имъемъ въ Евангеліи.

Несмотря на всю несоотвътственность логическихъ категорій античности для выраженія ученія о богочеловъчествъ Логоса, живгя дъйствительность Евангелія вынуждаеть къ расширенію этихъ вещ ыхъ категорій: такъ уже въ самомъ Халкидонскомъ догматъ говорится объ упостаси и л и лицъ, какъ и въ богословіи ставится вопросъ,

по поводу Евангельскаго образа Христа, о конкретной, личной жизни Богочеловъка. Мы знаемъ уже, что въ антитетикъ александрійства и антіохійства все время стоялъ вопросъ о различеніи обоихъ природъ въ Евангельскомъ образѣ Христа и объ отнесеніи однихъ проявленій жизни Христа къ Божеск й природъ, другихъ къ человъческой, а иныхъ даже еще къ какой то «средней» категоріи. Обычная схема этого различенія опредѣлялась такимъ образомъ, что на долю человъческаго естества относилось уничиженіе, на долю второго чудеса и прославленіе: «одно сіяеть чудесами, другое подвергается уничиженіямъ» (посланіе папы В.). «Алкать, жаждать, утомляться спать свойственно человъку. Но пять тысячь насытить пятью хлѣбами, но самарянкѣ подать воду живую, но ходить непогружающимися стопами по поверхности моря, но заставить улечься вздымающіяся волны, запретить бурѣ, безъ сомнѣнія, свойственно Богу. И, чтобы не говорить многаго, не одной и той же природѣ свойственно плакать отъ чувства жалости объ умершемъ другъ и властнымъ словомъ вызвать его опять изъ четверодневнаго гроба; или висъть на древъ и, обративъ свъть въ ночь, заставить содрогнуться всѣ стихіи» (тамъ же). Въ этихъ словахъ напы Льва Великаго выражено обычное воззрѣніе, господствующее въ патристикѣ до св. Іоанна Дамаскина включительно. На долю же человъческаго естества отнесена была и молитва, если только она не понималась какъ совершаемая только для вида. Нетрудно видъть, что, одной рукой подписываясь подъ Халкидонскимъ догматомъ объ едино постасной и двуприродной жизни Богочеловъка, другою фактически это единство Богочеловъка при нераздъльности и несліянности природъ здъсь отвергается, замъняясь ихъ чередованіемъ во всей жизни и даже въ отдѣльныхъ поступкахъ (прослезился — по человъческой природѣ, воззвалъ къ жизни Лазаря — по божеству). Чрезъ это снова вкрадывается несторіанство, раздѣляющее природы, въ чемъ и обвиняли халкидонцевъ монофизиты. Но и раздѣленіе, и чередованіе можетъ относиться лищь къ Богу и Человѣку, но не къ единому Богочеловѣку, въ которомъ оба естества чераздѣльно и несліянно присутствуютъ въ каждомъ жизненномъ Его актѣ.

Однако, помимо конкретнаго разумѣнія Евангельскаго образа, вопрось о жизненномъ соотношеніи обоихъ природъ во Христъ возникаетъ у Леонтія Византійскаго, а затѣмъ и у св. Іоанна Дамаскина и въ болъе абстрактной формъ, именно о взаимообщеніи (κοινωνία или αντιδωσις τῶν ίδιομάτων) природныхъ свойствъ communicatio idiomatum, ученіе, занявшее важное мъсто догматикъ. Здъсь ставится общій вопросъ: каково возможное вліяніе естества божескаго на человъческое и человъческаго на божеское? Первая часть этого вопроса разрѣшается легко и благополучно: божеское естество сообщаеть человъческому сверх-природныя, благодатныя свойства, давая ему силу превзойти себя, и это проникновеніе божества въ человъческую жизнь называется о б оженіе θέωσις. Но каково же будеть обратное вліяніе человъческаго естества на божеское, что также постулируется этимъ ученіемъ? Этотъ вопросъ въ сущности остается безотвътнымъ (у Дамаскина сказано лишь объ этомъ: что одно естество «не лишено участія въ другомъ») за отсутствіемъ догматическихъ данныхъ, а чрезъ это снова вкрадывается непреодолѣнное несторіанство или же докетизмъ, т. е. до-халкидонская еще антитетика. Эта же мысль о communicatio idiomatum находить для себя выраженіе въ ученіи о единой, по выраженію Діонисія Ареопагита, богомужной вествріки энергін. Эта въ высшей степени важная мысль, которая содержить въ себъ зерно предъльнаго

догматическаго обобщенія въ области христологіи, первоначально явилась въ монофизитскихъ кругахъ, и ея остріе было направлено противъ халкидонскаго ученія о двойствѣ природъ въ сторону смъсительнаго соединенія. Санкціонированная авторитетнымъ именемъ псевдо-Діонисія, она чрезъ Л. В. и св. І. Д. сдълалась достояніемъ и православной догматики. Эта чрезвычайно трудная и сложная мысль буквально только обронена псевдо-Діонисіемъ въ письмѣ къ монаху Гаю въ такихъ словахъ: «Онъ (Христось) не былъ человѣкомъ, какъ не былъ и не-человѣкомъ, будучи среди людей превыше человѣка, но будучи выше человѣка (оставался) истиннно человъкомъ. И въ общемъ дълая божеское какъ Богъ, а человъческое не какъ человъть, но какъ вочеловъчившійся Богь явилъ намъ нѣкую богомужную энергію». Какъ видите, здъсь, собственно ничего новаго и не сказано. кромъ словъ ееандрическая ИНИ гочеловъческая энергія. Но бывають живыя творческія слова, которыя им'єють въ себ'є силу жизни, уже заключають въ себъ цълое богословіе, къ числу ихъ принадлежить и веандрическій, богочелов в ческій: единая двуприродная. Ни Леонтій Византійскій, ни св. Іоаннъ Дамаскинъ по существу не дѣлаютъ новаго шага въ развитіи этой мысли. При этомъ они не видять въ какой степени она не совмъстима съ идеей чередованія природъ и съ ихъ пониманіемъ и чудесь, и страданій, и молитвы, и истощанія въ Господъ. Вообще это ученіе уже выводить за грани святоотеческаго богословія съ его застывшими физическими категоріями, хотя оно молчаливо подразумъвается въ качествъ нъмого вопрошанія во всѣхъ его построеніяхъ, въ частности въ моноеелитскихъ и диеизитскихъ спорахъ и даже въ самомъ опредъленіи VI вселенскаго собора о двухъ воляхъ и двухъ энергіяхъ. Если ихъ двѣ, то какъ

онъ между собою координированы? Къ нимъ также примънено Халкидонское четверократное н е: нераздѣльно — несліянно, неизмѣнно — неразрывно. Этимъ, такъ сказать, обезпечивается самобытность человъческой стихіи, какъ особой воли или энергіи въ Богочеловъкъ. Однако, отрицательное опредъление и здъсь недостаточно, требуется установить и положительное ихъ соотношение. По своему это пытается сдълать св. Іоаннъ Дамаскинъ, который устанавливаетъ, что если Хотящій одинъ, то и предметъ хотѣнія одинъ (посылка, изъ которой, какъ будто, слъдуетъ скоръе моновелитское заключеніе). Это соотношеніе ближайшимъ образомъ сводится къ тому, что божественная воля попускаеть человъческой хотъть ей свойственнаго. «Плоть принимаеть участіе въ дѣйствіяхъ Божества Слова, потому что божескія дъйствованія совершались посредствомъ тъла, какъ бы посредствомъ орудія, а также потому, что одинъ былъ дъйствующій». (Признаніе орудійности тъла, конечно, едва ли отвъчаетъ общему смыслу догмата, утверждающему какъ разъ наоборотъ, именно самобытность обоихъ естествъ, въ частности и человъческаго). Въ догматическомъ опредъленіи VI собора это соотношеніе двухъ воль выражается томъ, что «человъческая воля (во Христъ) уступаеть, не противоръчить и не противодъйствуеть, а слъдуеть и подчиняется» божественной, такъ что «Его человъческая воля, будучи обожена, не уничтожилась, а сохранилась», «и то, и другое естество производить свое въ общеніи съ другимъ». Здѣсь установляется, такъ сказать, іерархическій примать воли божественной надъ человъческой съ сохраненіемъ въ то же время тварной челов вческой воли наряду съ божественной. Однако здъсь простое соединеніе двухъ природъ, имфющихъ одну общую упостась, которое въ Халкидонскомъ догматъ возможно благодаря своеобразному вещному пониманію природы и упостаси, становится уже болье затруднительнымь всльдствіе того, что явная актуальность присуща здысь и подлежащему и сказуемому, и волящему и волямь.

Двѣ воли не могутъ быть такъ прямолинейно рядополагаемы, какъ двѣ природы и не могутъ быть соединены формальнымъ эн-упостасированіемъ. Будучи іерархически различны, онъ нуждаются еще въ постоянномъ внутреннемъ единеніи, подлинно богомужномъ дъйствъ единаго Богочеловъка съ единой жизнью и дъйствованіемъ, хотя оно и возникаетъ изъ сочетанія двухъ воль. Мы, конечно, не думаемъ здъсь колебать догматическаго значенія опредѣленія VI собора, но мы констатируемъ, что оно уже непосредственно упирается проблему богочеловъческого единства, веандрической энергіи. Это есть исходная, а вмѣстѣ и заключательная, всю христологію въ себя включающая проблема: Богочеловъка и Богочеловъчества, которую поставилъ себъ еще Аполлинарій. Иными словами догматическое опредъленіе и VI собора остается внутрение незаконченнымъ, оно постулируетъ дальнѣйшее его догматическое раскрытіе опредъленіемъ не только о двойствъ, но и о двуединствъ воль, которое въ немъ едва намъче-HO.

Остается еще VII вселенскій соборь. Божественный инстинкть истины, дѣйствовавшій въ немь, привель его къ богомудрому утвержденію иконы и иконопочитанія. Однако, осталось безъ догматическаго опредѣленія то, что составляло для него догматическую основу. Между тѣмь здѣсь въ дѣйствительности обнажилась уже одна изъ проблемь догматики б о г о ч е л о в ѣ ч е с т в а, какъ нѣкоего единства въ двойствѣ, именно сила образа Божія въ человѣкѣ, а въ то же время и образа человѣческаго въ божествѣ, единство богочеловѣческаго образа. VII вселенскій соборъ есть

символическій указательный знакъ, обращенный

къ будущему.

Творчество вселенскихъ соборовъ прерывается, не исчерпавъ своей проблематики, до того времени, когда вѣянію Духа Божія угодно будетъ снова призвать къ жизни мертвыя кости, лежащія на полъ въковой кипучей борьбы. Нельзя думать, чтобы дальнъйшія догматическія вопрошанія даже въ области христологіи, послѣ вселенскихъ соборовъ стали уже ненужными и невозможными, напротивъ, они есть и нудятъ къ дальнъйшему догматическому творчеству. Продолжение догматическаго творчества эпохи 7-ми вселенскихъ соборовъ должно явиться живою связью между ними и современностью. Богомудрыя опредѣленія вселенскихъ соборовъ въ ихъ цѣломъ суть нѣкіе священные догматическіе мивы или массивные символы, которые всегда нуждаются, такъ сказать, въ новомъ догматическомъ раскрытіи или переводъ на богословскій языкъ современности. Мы уже не можемъ ихъ воспринимать именно такъ, какъ они даны были для своихъ современниковъ, на философско-догматическомъ языкѣ античности. Конечно, эта античная форма неслучайна, она промыслительно предуказана, какъ наиболже соотвътствующая для догматической символики (подобно тому какъ не случайно эллинскому генію въ философіи и искусствъ дано было наложить свою печать на исторію христіанской догматики и культа). Но она роковымъ и неотвратимымъ образомъ н е современна. Современная философія и психологія совершенно иначе воспринимаютъ основныя понятія: упостась и природу, для нихъ они срастворяются съ жизнью личнаго духа, съ ея глубиной и основой, и намъ совершенно невозможно оставаться въ области физическаго и вещнаго пониманія этихъ понятій, какимъ удовлетворялась стическая эпоха. Мы не могли бы этого, даже если

бы хотѣли, но это и не нужно и даже фальшиво: каждая историческая эпоха имѣетъ свою собственную мысль и свой языкъ. До тѣхъ поръ пока привычныя формулы воспринимаются внутренно безучастно (что есть смерть для вѣры) или же остаются лишь достояніемъ исторіи, которая любитъ ихъ именно за эту ихъ архаичность, онѣ не нуждаются въ богословскомъ переводѣ на языкъ современной мысли. Но какъ только пробуждается богословская пытливость и религіозная мысль, онѣ такъ или иначе переводятся, и это есть творческое дѣло богословія эпохи. Этимъ отнюдь не колеблется и не умаляется ихъ авторитетъ и даже боговдохновенность.

Призваніе нащего времени есть ново-Халкидонское богословіе, которое воскрешало бы для насъ, а вмъстъ и продолжало творчество 7 вселенскихъ соборовъ во всей полнотъ ихъ проблематики, послъдняя же обобщается въ одной, поистинъ Халкидонской, проблемѣ — богочеловѣ-чества. Сынъ Божій — Сынъ Человѣческій единств в Своей богочелов вческой жизни, или богомужной энергіи, въ истинномъ общеніи свойствъ, согласіи и соединеніи воль, — такова остается догматическая проблема христологіи и для нашихъ дней. Къ четыремъ Халкидонскимъ н е — должна она найти и формулировать и основное догматическое да, которое такъ и не было богословски найдено въ діалектикъ александрійстваантіохійства. Надо чтить діло 7 вселенских соборовъ, но лучще выражать это почитаніе не риторическими и обычно преувеличенными восхваленіями, но самымъ фактомъ, т.е. усиленнымъ и углубленнымъ проникновеніемъ въ ихъ творчество, проблематику и достиженія, и посильнымъ продолженіемъ этого гигантскаго труда. Преданіе церковное есть живое и живущее, т. е. творчески продолжающееся и развивающееся какъ со стороны

его уразумѣнія, такъ и дальнѣйщаго раскрытія. Надо отличать формально-разсудочное и мертвое охранительство отъ подлиннаго храненеія преданія. Подъ лежачій камень вода не течетъ, и догматическія опредѣленія вселенскихъ соборовъ не должны для насъ превращаться въ такой камень, который существуеть лишь для того, чтобы поражать имъ головы невфрныхъ. Это есть седьмочисленное созвъздіе на небъ духовномъ, по которому должны направлять и свой собственный путь. Между тъмъ, богословіе, зачарованное напряженнымъ творчествомъ эпохи 7 вселенскихъ соборовъ, устроило изъ него для себя родъ догматической подущки, на которой воинствующе заспуло въ позъ вызывающей ортодоксіи. Въ частности въ области христологіи мы наблюдаемъ одинаковый застой, и прежде всего на востокъ, гдъ внутреннее оскуд вніе творческой мысли усиливается и внъщними трагическими судьбами Византійской имперіи, подобнымъ нын шнимъ судьбамъ нащей родины. Но этотъ же застой наблюдается въ этой области и на западъ, при всемъ догматическомъ «развитіи» и схоластическомъ цвътеніи католичества. Предметомъ догматическихъ опредѣленій западных соборовь посл церковнаго раздьленія является что угодно, только не христологія, которая почитается исчерпанной. Нѣкоторое догматическое движеніе возникаеть здёсь лищь съ реформаціи, которая до извъстной степени разбудила и христологическую мысль послѣ 1000-лѣтняго сна. Возникаютъ новыя проблемы и новыя идеи, при всей ихъ односторонности. Однако эти рожденныя въ протестантизмъ идеи остаются безъ отзвука въ церковномъ богословіи, да, кромъ того, замирають и въ самомъ протестантизмъ подъ вліяніемъ мертвящаго раціонализма новаго времени. Религіозное сознаніе современной эпохи зоветь къ догматическому пробужденію, и оно должно избрать для себя точкой отправленія догматическое ученіе седьмерицы соборовь, которые возглавляются двумя: Никейскимь и Халкидонскимь. Нашему времени нужно Никео-Халкидонское богословіе, догматическое ученіе о Богочелов'єк'є въ Его Богочелов'єчеств'є, о Сын'є Божіємь, который есть и Сынъ Челов'єческій, сощель съ неба и сталь плотію, но и возс'єль во плоти одесную Отца. Это и есть самая очередная творческая задача нащей эпохи въ области христологіи, на путяхь догмы, посл'є семи вселенскихь соборовъ.

Прот. С. Булгаковъ.

ПРОВЛЕМА КРАСОТЫ ВЪ МІРО-СОЗЕРЦАНІИ ДОСТОЕВСКАГО *)

1. Есть достаточно основанія утверждать, что Достоевскій всю жизнь интересовался вопросомъ о красотъ, о смыслъ и задачахъ искусства. Онъ писалъ однажды своему брату: «Я присѣлъ за статью объ искусствъ. Статья моя — плодъ десятилътнихъ обдумываній.... Это, собственно о наз наченіи христіанства въ искусствъ». Въ «Дневникъ писателя» за 1873 годъ мы находимъ много отдъльныхъ мыслей, которыя явно представляютъ отрывки изъ слагавщейся системы эстетическаго міровоззрѣнія, хотя уже въ это время у Достоевскаго бродили — недостаточно впрочемъ оформленными — тѣ мысли о трагедіи красоты, которыя съ такой силой высказываются имъ позже въ «Братьяхъ Карамазовыхъ». Въ одномъ письмѣ къ Полонскому Достоевскій пишеть (въ 1876 г.): «хотѣлъ бы писать о литературъ и о томъ, о чемъ никто съ тридцатыхъ годовъ ничего не писалъ -- о чистой красотѣ».

Въ Достоевскомъ дъйствительно все время шла большая внутренняя работа по вопросамъ о смыслъ красоты, о задачахъ искусства, и если эта

^{*)} Настоящій этюдь представляєть обработку річи, произнесенной въ торжественномъ засіданіи Рел. Фил. Академіи въ память Достоевскаго (въ февралі 1931 г.).

работа такъ мало все же (сравнительно съ другими темами) отразилась въ его творчествъ, то причину этого надо искать въ томъ, что у него очень рано (но, конечно, уже послѣ каторги) намѣтилось глубокое раздвоеніе, съ которымъ онъ никакъ не могъ справиться. Съ одной стороны мысли Достоевскаго настойчиво развивались въ сторону тъхъ идей, вершиной которыхъ является формула «красота спасеть міръ», — съ другой стороны въ немъ съ неменьщей силой — и чѣмъ дальще, тѣмъ опредѣленнъе — выступало сознаніе того, что красота есть объекть спасенія, а не сила спасенія... Эти два цикла идей развивались у Достоевскаго парадлельно, другь друга путая и осложняя. По существу Достоевскій такъ и не справился съ этой трагической антиноміей, не смогь выработать цѣльнаго эстетическаго міровоззрѣнія. Мы только можемъ слѣдить за борьбой двухъ антиномическихъ цикловъ идей у Достоевскаго, — «вѣра въ красоту» слишкомъ глубоко была связана съ его почвенничествомъ, чтобы легко уступить мъсто трагической концепціи красоты. Крушеніе эстетической утопіи разрушало въ сущности всю систему исторіософіи Достоевскаго, обнажало затаенную мечту о «возстановленіи» человъчества, вскрывало въ ней элементы настоящаго натурализма. Нужна была перестройка всего міровоззрѣнія — но смерть помѣшала выполнить эту задачу.

2. Ключь къ діалектикѣ философскихъ исканій Достоевскаго лежить въ его антропологіи. Если первыя произведенія Достоевскаго (до каторги) еще недостаточно выявляють это, если увлеченіе утопическимъ соціализмомъ въ раннемъ періодѣ ставитъ удареніе на темѣ объ устроеніи человѣчества и освобожденіи его отъ тяжестей неустроенной жизни — то какъ разъ каторга приноситъ рѣзкій переломъ. Загадка человѣческой души, сложность и «неустроенность» ея, тяж-

кое и темное подполье раскрываются передъ Достоевскимъ съ такой силой, съ такой неотразимостью, что всю жизнь остается онъ отравленнымъ тъмъ, что привелось ему увидъть и понять въ человъческой дущъ. Тотъ наивный оптимизмъ, который лежить въ основъ теоріи прогресса и всяческихъ утопій, не могь удержаться въ его душѣ — онъ пропаль въ немъ навсегда. Какъ это часто бываеть, Достоевскій не сразу овладель темь, что непосредственно вошло въ его дущу въ годы каторги - но все его дальнъйшее творчество по существу остается навсегда связаннымъ съ этимъ стращнымъ наслъдствомъ, живщимъ въ его душъ, и черезъ художественное творчество Достоевскій какъ бы искалъ освобожденія отъ него. Темное въ человъкъ, хаотичность и неустроенность души, власть подполья и аморальность его, жуткая сила пола всѣ эти темы были нужны Достоевскому, чтобы осмыслить то, на что онъ наглядълся на каторгъ, и чтобы сбросить съ себя власть этихъ жуткихъ видъній. Именно здъсь по новому возникаетъ передъ Достоевскимъ прежняя тема «возстановленія падшаго человѣка», тема спасенія и исцѣленія его. То, что въ наивномъ, несозрѣвщемъ сознаніи опредъляло тяготъніе къ утопіямъ, облеклось въ живомъ опытъ въ такую страшную, мучительную дъйствительность, отъ которой хотълось убъжать и о которой даже «жестокій таланть» Достоевскаго не всегда ръщался говорить читателю. Нужно было опуститься на самое дно, заглянуть въ ужасающую темноту души, какъ это и привелось Достоевскому, чтобы въ этомъ опытъ остро и неотразимо пережить нужду человъчества въ спасеніи, въ исцъленіи. Одинъ нъмецкій писатель озаглавилъ свою статью о Достоевскомъ удачнымъ названіемъ: «Blick ins Chaos» — Достоевскій дѣйствительно заглянуль въ тѣ глубины дущи человѣческой, гдъ передъ нимъ на всю жизнь прощли видънія хаотичности, неустроенности и темноты въ нащей душъ.

Достоевскій не сталь оть этихь видіній ни ципикомъ, ни пессимистомъ — въ немъ не угасла въра въ человъка, несмотря на то, что увидълъ онъ всѣ гадости въ человѣкѣ. Скорѣе наоборотъ любовь къ падшимъ людямъ, къ темной дущѣ, къ «неустроеннымь» натурамь уцѣлѣла у него и даже стала глубже и прочиве. На всю жизнь эта любовь къ человъческой душъ связалась для Достоевскаго съ Евангеліемъ, съ проповѣдью Христа о любви, и христіанство для Достоевскаго открылось именно, какъ сила спасенія и какъ путь спасенія. Достоевскій поняль въ Евангеліи самое существенное, поняль то, для чего оно явилось въ міръ, - и странно, что именно въ этомъ видятъ свидътельство нѣкоторой узости Достоевскаго, упрекають его въ бледности церковнаго пониманія христіанства, говорять о его преимущественно «евангельскомъ» усвоеніи христіанства...

Центральное значеніе идеи спасенія въ христіанствъ нужно непремѣнно имѣть въ виду, чтобы понять діалектику духовныхъ исканій и философскихъ построеній Достоевскаго. Эта діалектика опредълнется двумя исходными темами — темой о паденіи человъка и темой о его спасеніи и возстановленіи. Эти двѣ темы какъ бы двѣ главы изъ христіанской антропологіи — одна предполагаетъ другую, върнъе одна сопряжена съ другой, ибо только въ своемъ сочетаніи они раскрывають христіанское ученіе о человъкъ. Лишь въ свъть христіанскаго ученія объ образѣ Божіемъ и о его возстановленіи въ падшемъ человѣкѣ черезъ обоженіе — до конца открывается вся ложь и неправда, вся тьма и неустроенность человѣка, неизбѣжность характеристики его, какъ «падшаго», а въ то же время открывается путь для «возстановленія» и спасенія.

Но какъ разъ именно въ этой точкѣ — въ ученіи объ образѣ Божіемъ, заключенномъ въ человъкъ, но не дъйствующемъ въ немъ благодаря силѣ грѣха — и таится источникъ очень глубокаго и исторически вліятельнаго искаженія христіанства, которое можно назвать «христіанскимъ натурализмомъ». Натурализмъ мы находимъ тамъ, гдъ «естество» мыслителя способнымъ къ преображенію своими собственными силами — такъ, все почвенничество съ его вѣрой въ народъ, въ «почву», въ естественныя силы народной дущи грѣщи-ло такимъ натурализмомъ. Тайна преображенія и отдѣльнаго человѣка и народа мыслится внѣ Бога, спасеніе можеть и должно придти оть самаго человъка. Въ этихъ перспективахъ сама Церковъ мыслится не какъ тъло Христово, не какъ Богочеловъческій организмъ, а какъ вошедшая уже въ міръ, какъ пребывающая въ цемъ сила, сросшаяся съ естествомъ... Соблазнъ натурализма, недостаточное сознаніе всей конкретной связи добра и правды въ мірѣ съ благодатью Божіей — ждетъ насъ на каждомъ щагу, но съ особой силой встаетъ этотъ соблазнъ тогда, когда мы встрѣчаемся съ красотой. Есть въ красотъ что то уже достигнутое, можно сказать уже преображенное; красота предстаеть передь нами, какъ явленіе скрытой въ естествъ силы, какъ свидътельство того, что спасеніе естества заключено въ немъ самомъ, въ его внутренней силь, обычно ослабленной и бездыйственной. Этотъ соблазнъ неизбъжно ведетъ къ эстетическому утопизму; ему отдали дань многіе русскіе мыслители, но особенно замѣчательно сказался эстетическій утопизмъ у Гоголя (*) и у Достоевскаго.

3. Обратимся къ Достоевскому и прослѣдимъ развитіе его эстетическихъ взглядовъ.

^{*)} Крушеніе эстетической утопіи у Гоголя я изслѣдоваль въ статьѣ, имѣющей появиться въ ближайшее время въ печати.

Однажды въ «Дневникѣ писателя» (за 1877 годъ) Достоевскій высказалъ такую мысль: «Величайшая красота человѣка, величайшая чистота его... обращаются ни во что, проходять безъ пользы человѣчеству... единственно потому, что всѣмъ этимъ дарамъ не хватило генія, чтобы управить этимъ богатствомъ». Въ этомъ замѣчаніи, высказаннымъ «между прочимъ», заключено двѣ основныхъ мысли того религіозно-эстетическаго натурализма, который такъ глубоко сидѣлъ въ Достоевскомъ и опредѣлялъ его размышленія и замыслы. Красота есть свидѣтельство иѣкоего богатства, уже намъ даннаго, уже въ насъ заключеннаго... а съ другой стороны красота таитъ въ себѣ силу, для «управленія» которой необходимъ геній.

Обратимся спачала къ первой, очень характерной и существенной мысли Достоевскаго. Въ томъ же «Дневникъ писателя» (за 1873 годъ) читаемъ: «красота есть нормальность, здоровье» и въ другомъ мѣстѣ: «красота есть гармонія, въ ней залогъ успокоенія, она воплощаєть человѣку и человѣчеству его идеалы». Эта красота уже есть въ мірѣ, — и горе наше въ томъ, что мы ее не замъчаемъ, проходимъ мимо нея, не пользуемся ею. «Я не понимаю, говорить князь Мышкинь, какъ можно проходить мимо дерева и не быть счастливымъ, что видищь его.» Особенно много этой уже наличной, но незамъчаемой нами красоты въ дътяхъ -въ своемъ ученіи о дѣтяхъ («дѣти до семи лѣтъ существа особаго рода») Достоевскій возвыщается до чисто евангельскаго любованія красотой дътской души. «Смъющійся и веселящійся ребенокъ, читаемъ въ одномъ мѣстѣ въ «Подросткѣ» — это лучь изь рая, это откровение изь будущаго, когда человъкъ станетъ такъ же чистъ и простъ дущой, какъ дитя». Всѣ эти мысли какъ въ фокусѣ сходятся въ формулъ старца Зосимы: «Мы не понимаемь, что жизнь есть рай (уже нынѣ! В. З.),

ибо стоить только намъ захотъть понять и тотчасъ же онъ предстанетъ передъ нами во всей своей красотъ». Эта красота міра, невидимая и закрытая для тъхъ, кто не ищетъ красоты въ міръ, уже нынъ разлита въ міръ — въ «природъ, читаемъ въ одной замъткъ Достоевскаго, все расчитано на нормальнаго человъка, все разсчитано на святого и безгрѣшнаго». Красота есть въ мірѣ, она есть его богатство, его правда, — но она затемнена зломъ и грѣхомъ. Въ Подросткѣ находимъ замѣчательныя комментаріи къ картинѣ Лоррена, которую Достоевскій хотѣлъ бы назвать «золотой вѣкъ» (*). Достоевскій видить въ картинѣ «видѣніе чудеснаго сна о прекрасныхъ людяхъ, у которыхъ великій избытокъ непочатыхъ силъ создаеть простодушную радость».

«О чудный сонъ, говорить далѣе Версиловъ, высокое заблужденіе! Мечта самая невъроятная изъ всѣхъ, какія были, но которой все человѣчество всю свою жизнь отдавало вст свои силы, для которой всъмъ жертвовали, безъ которой пароды уже не хотять жить... И все это ощущеніе я какъ будто пережилъ въ этомъ спѣ. Ощущеніе счастья, мнть еще неизвъстное, прошло сквозь все сердце мое даже до боли». Это глубокое ощущеніе красоты въ мірѣ, въ людяхъ, реальной, но лишь закрытой—Достоевскій называеть уже здѣсь «высокимъ заблужденіемъ», «мечтой самой невфроятной» — и въ эти же годы онъ снова возвращается къ «певъроятной мечтъ» и пишеть свой замъчательный «Сонъ смѣшного человѣка», въ которомъ еще ярче и конкретнъе представленъ человъкъ въ его первозданномъ красотъ. Эта красота разрушена грѣхомъ (въ этомъ основная мысль этой маленькой фантазіи, насыщенной какой то особенной грустью

^{*)} Чрезвычайно близко къ этой темѣ подходитъ Глѣбъ Успенскій въ своемъ этюдѣ о Венерѣ Милосской (Очеркъ «Выпрямила» въ «запискахъ Тяпушкина»).

о счастьт, ушедшемъ въ глубь души и блещущемъ намъ лищь какъ мечта) — въ душѣ нашей сохранилось лищь влечение къ красотъ, трепетное искание ея. Но о томъ, какъ по словамъ Достоевскаго, «помутилась эстетическая идея въ челов в чело скажемъ далѣе, вернемся пока къ ученію о красоть въ мірь и значеніи ея для насъ. «Я объявляю, говорить въ надрывѣ старикъ Верховенскій, что Шекспиръ и Рафаэль выше освобожденія крестьянъ, выще юнаго поколѣнія, выше почти всего уже человъчества, — ибо они уже плодъ, настоящій плодъ всего человъчества — и можетъ быть высщій плодъ, какой только можетъ быть... Да знаете ли вы, что безъ англичанъ еще можно прожить человъчеству, безъ Германіи можно, безъ русскаго человъка слишкомъ возможно, безъ пауки можно, безъ хлѣба можно, безъ одной только красоты невозможно, ибо совствить нечего будеть делать на свътъ. Вся тайна тутъ, вся исторія тутъ. Сама наука не простоить безь красоты, обратится въ хамство». Эта замъчательная тирада, вложенная уста Стефана Трофимовича, когда быль уже внъ себя, развиваеть однако одну изъ важнѣйшихъ мыслей Достоевскаго, что все «держится» красотой, которая и есть «вся тайна» жизни, ея правда и ея сила, ея основа и норма. О томъ, что «вся исторія тутъ» говоритъ тотъ же Стефанъ Трофимовичъ: «Человъку гораздо необходимъе собственнаго счастья знать и каждое мгновеніе върить въ то, что есть гдъ то уже совершенное и спокойное счастье — для всёхъ и для всего. Весь законъ бытія человъческаго лишь въ томъ, чтобы человѣкъ всегда могъ преклониться передъ безмфрно великимъ. Если лишить людей безмфрно великаго, то не станутъ они жить — и умрутъ въ отчаяніи. Безмърное и Безконечное такъ же необходимы человѣку, какъ та малая планета, на которой они живутъ». Потребность эстетическаго поклоненія охраняеть въ человѣкѣ эту связь съ Безконечностью — и въ охранѣ ея, какъ мы увидимъ дальше, ключъ къ здоровью, въ разру-

шеніи ея — источникъ порчи и гибели.

Объ эстетической потребности, ея глубинъ, гдѣ она неразрывно связана съ моральной и религіозной сферой, Достоевскій въ данномъ циклѣ идей училъ такъ, какъ училъ Шиллеръ: по своему существу влеченіе къ красотѣ представняется ему однороднымъ съ исканіемъ Безконечности (т. е. съ религіозными движеніями души), съ исканіемъ добра. Съ того времени, когда было нарушено это изначальное, внутреннее единство эстетическаго начала съ религіозной и моральной сферой — и «помутилась эстетическая идея въ человъчествъ». Въ своей же цъльности эстетическое движение въ душъ есть коренная основа нашего бытія. Вотъ что читаемъ мы въ замъчательномъ отрывкъ, въ которомъ Шатовъ излагаетъ Ставрогину его же собственныя мысли: «Разумъ и наука въ жизни народовъ всегда, теперь и съ начала въковъ исполняли должность лишь второстепенную и такъ и будуть исполнять ее до конца вѣковъ. Народы слагаются и движутся силой иной, повельвающей и господствующей, но происхождение которой неизвъстно и необъяснимо. Эта сила есть сила неутолимаго желанія дойти до конца (т. е. достичь совершенства — В. З.) и въ то же время конецъ отвергающая (т. е. ищущая въ совершенствъ безконечнаго В. З.). Это есть сила безпрерывнаго и неустаннаго подтвержденія своего бытія и отрицаніе смерти. Духъ жизни, какъ говорить Писаніе, «рѣки воды живой», изсяканіемъ которыхъ такъ угрожаетъ Апокалипсисъ. Начало эстетическое, какъ говорять философы (*), начало нравственное, какъ отожествляють они же. Исканіе Бога, какъ назы-

^{*)} Конечно, здёсь имбется въ виду Шеллингъ.

ваю я его проще. Цъль всего движенія народнаго, во всякомъ народъ и во всякомъ періодъ его бытія есть единственно лищь исканіе Бога... » Въ новыхъ матеріалахъ, нынъ публикуемыхъ, находимъ у Достоевскаго такую мысль, близко подходящую къ приведенному отрывку: «Духъ Святой есть непосредственное понимание красоты, пророческое сознаваніе гармоніи и стало быть и неуклонное стремленіе къ ней». Это эстетическое истолкованіе благодатнаго осъненія души св. Духомъ или говоря иначе, религіозное истолкованіе эстетическаго движенія всецьло связано для Достоевскаго съ ученіемь объ изначальной целостности въ человекь, о той внутренней связанности въ немъ эстетическаго, моральнаго и религіознаго начала, которое такъ типично для этого цикла идей о красотѣ въ мірѣ и о человѣкѣ, объ неутомимомъ исканіи нами красоты, о томъ что красотой держится міръ и исторія. Еще у старца Зосимы, поученія котораго развивають эту же тему о красотъ въ человъкъ, объ изначальной цълостности и правдъ въ немъ, находимъ тѣ же мысли. «Многое отъ людей сокрыто, говорить онъ, но взамѣнъ того даровано намъ такое сокровенное ощущеніе живой связи съ міромъ инымъ». Именно это ощущение и опредъляеть и эстетическую отзывчивость и творческій смыслъ всякаго восторга. «Ищи восторга и изступленія, поучаеть старець Зосима, изступленія же сего не стыдись, дорожи имъ, ибо оно есть даръ Божій, великій».

Въ матерьялахъ къ «Бѣсамъ» находимъ такое мѣсто: «Христосъ затѣмъ и приходилъ, чтобы человѣчество узнало, что и его земная природа, духъ человѣческій можетъ явиться дѣйствительно въ такомъ небесномъ блескѣ, на самомъ дѣлѣ и во плоти, а не то что въ одной мечтѣ и идеалѣ что это и естественно и возможно.» Въ этихъ словахъ уже ясно выступаетъ неполнота христіанской идеи — явленіе Христа берется не въ его искупительной жертвѣ, единственно спасщей насъ, а въ явленіи й раскрытіи первозданнаго образа Божія. Можно было бы, заостряя мысль Достоевскаго сказать даже, что спасительная сила заключена въ самомъ бытіи, но связана она грѣхомъ и происшедщимъ отсюда «затемивніемъ» и Христосъ вернуль міру власть надъ этой силой... Отъ такой интерпретаціи недалеко уже до такого пониманія Христа, которое видитъ въ Немъ «посланника Божія», одущевленнаго силой свыше, но не Сына Божія... Я не хочу приписывать Достоевскому такихъ мыслей, ему не свойственныхъ, но въра въ то, что сила спасенія дана міру отъ его созданія, что она заключена въ немъ, что красота есть свидътельство и явленіе этой силы и что нужно лищь овладъть этой силой — и образуеть основу христіанскаго натурализма у Достоевскаго. Правда, эстетическая идея «помутилась» въ человъчествъ и красота стала «загадкой» (какъ читаемъ въ томъ же «Идіотѣ», гдѣ высказана мысль и о томъ, что «красота спасетъ міръ») — но это уже начало другого цикла мыслей Достоевскаго, къ которымъ мы перейдемъ позднъе.

Мотивы христіанскаго натурализма очень тонко и глубоко пронизывають собой многія рѣчи старца Зосимы, — и туть подлинное Православіе, съ его свѣтлымъ космизмомъ, съ его ожиданіемъ «обоженія» міра черезъ Церковь и въ Церкви пезамѣтно сочетается съ натурализмомъ, по существу упраздняющимъ Голгофу и смерть Спасителя, дѣлающимъ даже ненужнымъ Воскресеніе Спасителя, а живущимъ всецѣло откровеніемъ о Боговоплощеніи (*) да еще чудомъ претворенія «воды» въ «новое вино» — чудомъ, которое легко можетъ быть перетолковано именно въ тонахъ христіан-

^{*)} То же самое характерно для богословія В. В. Розанова, если только можно говорить о его «богословіи».

скаго натурализма, не знающаго того, что Церковь благодать спасенія сообщаеть лищь черезь таинства...

4. Въ свътъ развитыхъ мыслей по новому освъщается дорогая Достоевскому идея «возстановленія падщаго человѣка», идея спасенія. Мы говорили уже о томъ, что въ этой идеъ Достоевскій стоить по существу на почвѣ церковнаго пониманія христіанства, но спасительная сила Церкви разумъется здъсь опять же въ категоріи «святости» (параллельной категоріи «Боговоплощенія»), а не подается въ таинствахъ. Есть одно замѣчательное мъсто въ «Братьяхъ Карамазовыхъ», въ которыхъ достигаютъ предъльнаго выраженія мотивы христіанскаго натурализма, признаніе, что спасеніе приходить не извив, (не оть Бога и оть Церкви), а отъ самой сущности человъка, если она «святится», т. е. сбрасываетъ силу грѣха. Воть это мѣсто (размышленія Алеши о старцѣ Зосимѣ): «Все равно онъ свять, въ его сердить тайна обновленія ∂ ля встох δ , та мощь, которая установить наконець, правду на землъ, — и будуть всъ святы и будутъ любить другъ друга и не будетъ ни богатыхъ, ни бъдныхъ, ни возвышающихся, ни униженныхъ, а будутъ всѣ какъ дѣти Божіи и наступитъ Царство Божіе». «Вотъ о чемъ грезилось сердцу Алеши», — добавляеть Достоевскій. Одному ли Алешѣ — или самому Достоевскому? Думаю, что да. Въ наступленіи царства Божія—въ этой системѣ идей---нѣтъ ничего, превышающаго силы человѣческія — оно должно стать явнымъ и мощнымъ, ибо оно уже есть въ глубинѣ «земли», и путь святости, путь любви даеть просторь этой силъ. Именно здъсь и данъ надлежащій комментарій къ мысли кн. Мышкина, что «красота спасеть міръ». Здѣсь не сказано — искусство — и потому эстетическая утопія Достоевскаго отлична отъ эстетической утопіи Гогоня или Скрябина. Если красота,

какъ объективная сила, а не какъ творчество художественное, можетъ спасти міръ, то это значитъ иначе, что возстановленіе той цѣлостности міра, которая сохранилась въ глубинѣ его и которая и есть источникъ красоты, какъ сила святого Духа, соприсущая міру, — спасетъ міръ, если она возобладаетъ надъ «помутнѣніемъ» эстетической идеи въ человѣчествѣ. Спасеніе міра черезъ красоту есть спасеніе черезъ святость, черезъ явленіе

той силы, которая задавлена гръхомъ.

Формула о спасеніи міра черезъ красоту есть формула софіологическая — и въ томъ смыслѣ, что она покоится на признаніи, что красота міра восходить къ идеальной основъ, къ софійной глубинѣ міра и въ томъ смыслѣ, что «спасеніе» міра есть именно «возстановленіе» т. е. проявленіе софійной основы міра, сдавленной и прикрытой темной оболочкой гръха и неправды. Эстетическая философія не можеть быть вообще иной, какъ софіологической, если она считаетъ красоту реальностью, а не видимостью» («Schein» какъ гласитъ эстетика нъмецкая), — ибо въ красотъ данъ одинъ изъ важиъйщихъ мотивовъ софіологіи вообще (*). Но въ русской софіологіи недостаточно было взвъшено то, что эстетическая идея «помутилась въ человъчествъ», что есть «темный ликъ тварной Софіи» (**). Достоевскій больше другихъ приблизился къ этой сторонѣ проблемы, въ учетѣ которой софіологія освобождается впервые отъ элементовъ натурализма и безукоризно выражаетъ христіанское ученіе о мірѣ, какъ его хранитъ Православная Церковь. Мы сейчась перейдемъ къ тому, что думалъ Достоевскій о «помутнѣніи» эстетической идеи, пока же подчеркнемъ, что въ

**) См. мой этюдъ, подготовляемый къ печати, на тему «Темный ликъ тварной Софіи».

^{*)} См. мою статью «Преодолѣніе платонизма и софійное пониманіе міра». Путь.

формулѣ о спасеніи міра черезъ красоту дана не апологія искусства, а дана *религіозная идея* — спасенія міра черезъ святость, черезъ возстановле-

ніе образа Божія въ насъ.

5. Я не вижу надобности въ томъ, чтобы строить ту гипотезу, которую выдвинулъ Комаровичь относительно эстетическаго и духовнаго перенома въ Достоевскомъ, когда онъ бынъ въ Дрезденъ. Изъ представленнаго матерьяла, развернутаго правда не въ генетическомъ порядкъ, для чего еще иътъ достаточно данныхъ, а въ систематическомъ обзорѣ, видно, что въ эстетической сферѣ Достоевскій съ ранней поры сосредоточивалъ свои лучшія упованія и почерпаль силы для вѣры въ возможность «преображенія». Въ пору увлеченія утопическимъ соціализмомъ, который оформилъ впервые мысли о «нормальномъ устроеніи» человъка и человъчества, Достоевскій горячо и страстно жилъ темами искусства, хотя ясно еще не формулировалъ своей эстетической утопіи. Крушеніе въры во внъшніе пути «нормальнаго устроенія» человъка и человъчества, близкое знакомство со всей тьмой въ человъкъ, открывшейся ему на каторгъ, сознаніе, что «возстановненіе падщаго человѣка» возможно лишь на тѣхъ путяхъ внутренняго преображенія, какія раскрыль людямь Христось, обусловило появленіе эстетической и натуралистической утопіи, связанной съ ученіемъ «почвенничества», съ признаніемъ, что въ человѣкѣ и человъчествъ есть богатъйшія силы, задавленныя грѣхомъ и неправдой, силы эстетическія. Начало эстетическое здѣсь берется какъ цѣлостное, внутреннее, соединенное съ моральной и религіозной сферой, какъ поклонение Высшему Началу, — богословски говоря, какъ сила Св. Духа, дъйствующая въ міръ.

Но эта религіозно-эстетическая концепція оказалась непрочной — уже въ силу того, что налич-

ность эстетическаго начала не предохранила міръ отъ паденія и отъ извращенной любви къ грѣху. Моральная сфера и эстетическое начало не пребывають въ изначальномъ ихъ единствѣ. Уже въ «Идіотѣ» о красотѣ говорится, что она есть загадка — повидимому въ томъ смыслѣ, что она безсильна и не можетъ явить себя въ своей глубинѣ, которая остается скрытой.

Я уже приводиль тѣ строки изъ письма Достоевскаго къ брату, тдъ опъ сообщаеть о томъ, что пищетъ «письма объ искусствъ»: «Это собственно о пазначеніи христіанства въ искусствъ». Если вдуматься въ эти строки и сопоставить ихъ съ извъстной мыслью Гоголя, что въ искусствъ намъ даны «незримыя ступени къ христіанству» т.е. раскрыто пазначеніе искусства въ христіанствъ (а не христіанства въ искусствъ, какъ пищетъ Достоевскій), то становится яснымъ, что для Достоевскаго искусство внѣ христіанства какъ бы не справляется съ своей задачей, что оно не можетъ раскрыть своихъ крыльевъ безъ христіанства и «назначеніе христіанства въ искусствъ должно было бы очевидно въ томъ и состоять, чтобы «помочь» искусству. Быть можеть даже спасти его? До этой мысли, къ которой по существу Достоевскій шелъ, онъ такъ и не дошелъ, но она бросаетъ свъть на діалектику его исканій въ этой области. Въдь вся бъда въ томъ по Достоевскому, что «эстетическая идея помутилась въ человѣкѣ». Смыслъ этой знаменательной фразы можетъ быть истолкованъ лищь такъ, что сила, которая была присуща эстетическому пачалу въ его существъ, въ его изначальной цѣлостности (гдѣ оно внутренно соединено съ моральной чистотой и религіозной правдой) ослабъла въ немъ, ибо розорвалась эта изначальная связь красоты и добра, искусства и морали. Здъсь лежить ключь ко всъмъ дальнъйшимъ горькимъ мыслямъ Достоевскаго, подтачивавшимъ его

эстетическую утопію. Аморальность, царящая въ подполь в челов вка, изображенная съ такой силой въ «Запискахъ изъ подполья», есть нынѣ основной факть о человѣкѣ, и Достоевскій, развивая эти темы, первоначально развиваеть ихъ внѣ связи съ проблемой эстетическаго начала (кн. Валковскій, Свидригаловъ, Раскольниковъ). Уже въ раннемъ замыслѣ «Бѣсовъ», который сталъ нынѣ извъстенъ, встръчается впервые подходъ къ сближенію проблемы человъческой мерзости съ эстетической жизнью въ насъ. Въ «Идіотѣ», который какъ нынѣ извѣстно, подвергся очень серьезной переработкъ, хотя и дана ръшительная формула эстетической утопіи («красота спасеть міръ»), но дана она все же не въ прямой рфчи, а какъ то вскользь. И въ томъ же Идіотъ есть реплика князя о томъ, что «красота — загадка». Рѣзче и острѣе сомнѣнія эти выражены въ рѣчахъ Ипполита. Именно онъ самъ, приведя слова князя о спасительной силъ красоты спрашиваеть его — «какая красота спасеть мірь?» Что можеть значить это сомнъніе? Не то ли, что не всякая красота спасеть міръ?

Въ «Бѣсахъ», какъ они были закончены Достоевскимъ, уже становится ясной двусмысленность красоты, и носителемъ этой двусмысленности является Ставрогинъ. (Первоначально онъ — «князъ» — продолженіе, хотя и въ обратную сторону, того, что отлилось въ образъ князя Мышкина). «Вы говорили — слова Шатова Ставрогину — что не знаете различія въ красотѣ между какой нибудь сладострастной звѣрской шуткой и какимъ угодно подвигомъ — хотя бы жертвой жизнью для человѣчества. Правда ли, что въ обоихъ полюсахъ вы нашли совпаденіе красоты, одинаковость наслажденія?» Ужъ поистинѣ «помутилась» эстетическая идея въ человѣчествѣ, если красота оказывается столь двухсмысленной, что объ единствѣ

красоты и добра уже невозможно говорить. «Бѣсы» вообще насыщены темой красоты — тамъ всѣ главные герои говорять о красотъ, какъ бы заворожены ею, даже Верховенскій младшій, который говорить: «Я нигилисть, но люблю красоту». Воть то и страшно, что можно любить красоту и оставаться нигилистомъ. О какой тутъ «спасательной силѣ» красоты можетъ идти рѣчь — не оказа-лась бы красота не силой спасенія, а лишь соблазномъ, уводящимъ въ темную безконечность грфха... Психологія Ставрогина (которому предшествуеть въ этомъ кн. Валковскій и Свидригайловъ) уже связана съ жуткой тайной пола — исповѣдь его представляетъ ужасную, страшную обнаженность этой сферы. Изъ «записокъ» князя, предшествовавшихъ «Бѣсамъ» узнаемъ, что князь (Ставрогинъ) понимаетъ, что его могъ бы спасти энтузіазмь, но для энтузіазма недостаеть ему нравственнаго чувства. Это и есть разложение изначальной цълостности, въ которой эстетическое и нравственное начало едины: энтузіазмъ (то самое «изступленіе», о которомь говорить такъ глубоко старецъ Зосима) возможенъ лищь при возсоединеніи вновь эстетической и моральной жизни. Потому Шатовъ и совътуетъ Ставрогину излѣчиться трудомъ (т. е. аскезой), — а въ упомянутыхъ запискахъ князя, послѣ приведенныхъ словъ читаемъ: «эстетическое начало зависитъ отъ религіи т. е. предполагаетъ святыню души, обращенность ея къ Богу и добру».

Въ замыслѣ «Идіота», какъ видимъ изъ одного письма Достоевскаго, было «изобразить положительно прекраснаго человѣка. Труднѣе этого нѣтъ ничего на свѣтѣ.... Прекрасное есть лищь идеалъ... на свѣтѣ есть одно только положительно прекрасное лицо — Христосъ». Эти строки оставляютъ впечатлѣніе — что тайна Богочеловѣчества Христа, которую вообще Достоевскій чувствовалъ

хорошо, въ этомъ контекстъ выпадаетъ и передъ нами чисто человъческій ликъ Христа — ибо онъ становится «идеаломъ» человѣка! Весь привкусъ натурализма сказывается именно въ томъ, что та полнота, что то совершенство, которое мыслится во Христъ, какъ человъкъ, какъ бы относится къ обычному человѣку, какъ его скрытая, первозданная святыня. Дъти для Достоевскаго сіяли этой красотой, старецъ Зосима уже заключилъ въ себѣ «тайну обновленія для всѣхъ», и во всѣхъ насъ остается нераскрытой эта тайна обновленія. «Меня ужаснула великая праздная сила, ушедшая нарочито въ мерзость», говорить старецъ Ставрогину — ибо та сила обновленія, которая скрыта въ насъ, если она остается «праздной», если разрушается внутренняя связь между эстетическимъ и нравственнымъ началомъ (сочетаніе котораго, какъ мы видъли, невозможно для падщаго человъка внѣ религіи) — переходить въ извращенія и мерзость. Въ сущности, «помутнѣніе эстетической идеи» выражаеть не моральную, а онтологическую сторону гръха — губящаго ту чистоту и ясность, которая охраняетъ видѣніе Бога.

Но на этомъ не остановилась критическая работа Достоевскаго — его анализъ пошелъ дальше и далъ намъ ту исключительную по глубинъ и жуткой своей правдъ тираду Дмитрія Карамазова, въ которой мы находимъ нъсколько различныхъ

тезисовъ.

6. Въ виду крайней важности этого заключительнаго аккорда въ эстетической философіи Достоевскаго, заканчивающаго разрушеніе его эстетической утопіи, мы приведемъ цѣликомъ рѣчь Дмитрія Карамазова — чтобы для читателя легче было разложить ее на составныя части: въ ней сгущено сразу много отдѣльныхъ мотивовъ.

«Я падаю и считаю это для себя красотой, говорить Митя Алещъ. Красота эта стращная и

ужасная вещь. Страшная потому, что неопредълимая, а опредълить нельзя, потому что Богь задаль одни загадки. Туть берега сходятся, туть всѣ противорѣчія вмѣстѣ живутъ.... Перенести я при томъ не могу, что иной, высшій даже сердцемъ человъкъ и съ умомъ высокимъ, начинаетъ съ идеа-Мадонны, а кончаетъ идеаломъ Содомскимъ. Еще стращиве, кто уже съ идеаломъ Содомскимъ въ душѣ не отрицаетъ и идеала Мадонны и горитъ отъ него сердце. Нътъ, широкъ человъкъ, слишкомъ широкъ, я бы съузилъ. Что уму представляется позоромъ, то сердцу сплошь красотой.... Въ содомѣ красота и сидитъ для огромнаго большинства людей — зналъ ли ты эту тайну или нътъ? Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Туть діаволь съ Богомъ борется, а поле битвы сердце человѣка».

Въ этой небольщой, но геніальной тирадѣ заключено сразу много очень важныхъ идей — въ острой и лапидарной формѣ здѣсь сгущены всѣ сомнѣнія, всѣ тяжкія размышленія Достоевскаго надъ загадкой красоты. Я хотѣлъ бы выдѣлить четыре основныхъ идеи, которыя вскрываютъ передъ нами діалектику эстетическихъ исканій Достоевскаго.

Первая и главная мысль, которая разрушаеть всю наивпую мечту о «спасительной силъ» красоты, заключается въ той двусмысленности эстетическаго воспріятія, которая игнорируеть различіе добра и зла. Можно думать, что въ этой части ръчи Мити, гдъ указапо нъсколько типовъ двусмысленности эстетическаго восторга, воспроизводится ходъ собственныхъ горькихъ открытій Достоевскаго. Первое открытіе заключалось въ томъ, что въ развитіи эстетической жизни можно начать Мадонной и кончить Содомомъ, въ которомъ сердце тоже усматриваетъ красоту. Это и есть то, что Достоевскій понялъ въ своей мысли, что «эстетическая

идея помутилась въ человъчествъ» — а именно, что мы можемь находить красоту въ грѣхѣ и безобразіи (моральномъ): «что уму (т. е. моральному сознанію) представляется позоромъ, то сердцу сплошь красотой». Красота стоить, употребляя выраженіе Ницше, «по ту сторону добра и зла», т. е. она можетъ быть и добромъ и зломъ, нътъ поэтому никакой внутренней связи между красотой и добромъ, красота равнодушна къ добру и на красоту нельзя положиться. Можно пожалуй начать съ идеала Мадонны — но это и будетъ лишь начальная фаза... На высшей стадіи нахолюдей, которые совмъщають Содомскій идеаль съ поклоненіемь Мадонив, съ горвніемъ сердца о ней. Эта стадія еще страшнъе — потому что если въ первой части Достоевскій утверждалъ отсутствіе внутренней связи красоты и добра, возможность восторга и нахожденія красоты въ злѣ, т. е. разрушаетъ всю свою эстетическую утопію — то въ этомъ «высщемъ» типъ встаеть загадка красоты, которая не только можеть быть паходима во злѣ, но которая дѣлаетъ равноцѣнными и добро и зло. Это уже не двусмысленность красоты — это есть «ужасное» въ ней. Недаромъ здѣсь употреблено слово о Содомѣ, — здѣсь недоговорена лишь тема, которой насыщена вся книга «Братьевъ Карамазовыхъ» — тема о полѣ (*). Какъ разъ именно связь красоты съ поломъ и создаеть ен загадку — ибо дѣло уже не только въ томъ, что нътъ внутренней связи между добромъ и красотой, т. е. не только на двусмысленности красоты, въ внѣморальности ея, — но и въ томъ, что полъ глубоко связанъ съ красотой не только въ своихъ нормальныхъ, но и своихъ извращенных выраженіях. Извращенія въ области по-

^{*)} См. мой этюдъ о Федоръ Павловичъ Карамазовъ, посвященный проблемъ пола въ «Братьяхъ Карам.» Сборникъ статей о Достоевскомъ изд. А. Бемомъ. Вып. II.

ла («позоръ» для моральнаго сознанія) суть извращенія съ моральной, но не эстетической точки зрънія... Есть загадка въ самомъ полѣ (намѣченная впервые въ кн. Валковскомъ, затъмъ развитая въ Свидригайловъ, въ Ставрогинъ и достигающая своего полнаго развитія во всей семь Карамазовыхъ). Вся Карамазовщина связана съ поломъ и красота оказывается до такой степени связана съ поломъ, что она ему сопутствуетъ во всѣхъ его искривленіяхъ. Черезъ полъ дуща все такъ же ищеть красоты, какъ и внъ его. Въ этомъ и есть ужась того «открытія», которое дѣлаеть Достоевскій. И конечно, тѣ связыванія эстетической сферы съ поломъ, которыя со времени Дарвина получили мъсто и въ эстетикъ и въ біологіи, представляются дътскими и поверхностными въ отношеніи къ тѣмъ безднамъ, которыми окруженъ здѣсь человѣкъ для Достоевскаго. О томъ же Митѣ Карамазовъ, которому вложены въ уста замъчательныя слова о красотъ, говорить прокуроръ, (*) что его тянутъ къ себъ двъ бездны — бездна вверху и бездна внизу. Нъ этой обращенности нащей дущи одновременно къ двумъ безднамъ какъ разъ и относится третій цикль мыслей Достоевскаго о томъ, что «широкъ, слишкомъ щирокъ человѣкъ»; «я бы съузилъ», сказано дальще. Человъкъ малъ и бъденъ, ничтоженъ и слабъ для того, чтобы овладъть той свободой, которая открыта ему благодаря этому; эстетическая двусмысленность, съ которой столкнулся Достоевскій, прикрываеть тайну свободы то же время расширяетъ И 63 тему, ибо свобода не въ одномъ выборъ доби зла, но возможна свобода отъ морали. Эстетическій свободы аспектъ ставить горазтрагичнѣе шире ея тему, И a главное ДО

^{*)} Подробнъе объ этомъ очень важномъ комплексъ идей см. мой этюдъ о Федоръ Павловичъ Карамазовъ.

раскрываеть безпомощность человѣка. Вся загадка красоты въ томъ и заключается, что красота непостижимо связана съ духовнымъ стояніемъ передъ двумя безднами, что она слѣдовательно глубже ихъ обоихъ, что она къ побъдъ добра въ человъкъ не имъетъ либо никакого отношенія, либо не имфеть во всякомъ случаф того отношенія, какое мыслиль Достоевскій къ своей эстетической утопіи. Въ противовѣсъ идилическому и наивному взгляду князя Мышкина мы узнаемъ теперь, что красота не только не спасеть міра, но что она губить и погубить быть можеть мірь. Гоняясь за красотой, человъкъ какъ разъ и вступаетъ въ ту плоскость, гдѣ передъ нимъ раскрываются двѣ бездны, одинаково манящія, одинаково неподчиняющіяся человѣку и стремящіяся его поглотить. И то, что это исканіе красоты связано съ «безудержемъ» пола, что полъ въ человѣкѣ, будучи источникомъ всего глубокаго, является въ то же время источникомъ самыхъ ужасныхъ паденій его вродъ тъхъ, о которыхъ разсказываетъ Ставрогинъ въ своей исповѣди — это то и показываетъ всю неустроенность человъка, всю безпомощность его, раскрывая въ то же время загадочность красоты.

Послѣдній аккордь, которымь кончается этоть геніальный отрывокь, посвящень именно таинственности красоты. Каковъ смысль этой части рѣчи Мити? «Поле битвы между дьяволомь и Богомь — сердце человѣка», — это значить, что наша борьба идеть въ сердцѣ, но сердце наше само безпомощно, ибо оно ослъпляется красотой, которая лишаеть его моральной силы, моральной свободы, превращаеть человѣка въ какой то медіумь, усваивающій лучи, исходящія изъ двухъ противоположныхъ и борющихся силь. Борьба зла съ Богомъ идеть подъ прикрытіемъ красоты, она должна происходить въ сердцъ человъческомъ, ибо къ тому и призвань человѣкъ, но его натураль-

ное, естественное влечение къ красотъ — то самое, которому посвящено столько мудрыхъ и свътлыхъ мыслей старца Зосимы, то, на которое еще и нынѣ въ «Братьяхъ Карамазовыхъ» возлагаетъ Достоевскій столько надеждь — оно не можетъ явится силой спасенія. Не красота спасеть міръ, но красоту въ мірт нужно спасать — вотъ страшный трагическій выводь, къ которому подходить, но котораго не смъсть осознать Достоевскій. Красота въ мірѣ является предметомъ «борьбы» между злымъ началомъ и Богомъ. Есть красота внъ міра — вѣчная, изначальная красота въ Богъ, но красота въ мірѣ попала въ плѣнъ злу... Защитники софійнаго пониманія міра не хотъли и не хотять понять того, что тварная Софія или Софія въ мірѣ хотя и сохранила силу красоты въ своей цѣлостности, одъвая міръ всюду и всегда чудной красотой — но въ самой Софіи міра, какъ носителѣ красоты, произошло раздвоеніе, подобное раздвоеніе личности у насъ; кромѣ свѣтлаго лика Софіи возникъ темный ликъ тварной Софіи. Красота осталась сама по себъ незатронутой этимъ раздвоеніемъ и оттого стала возможной «злая красота», красота демонизма, — и самая красота зла свидътельствуеть о томъ, что зло восходить въ своей основъ къ первозданному бытію, къ той стадіи въ жизни твари, когда все было «добро зѣло». Но именно оттого, что красота осталась незатронутой возникновеніемъ зла, что она «свѣтитъ и злу» (но не освящаеть и не преображаеть это поняль Достоевскій сь ужасомь, сь надрывомъ; см. особенно рѣчи Мити), она является какъ бы залогомъ спасенія, она вѣчно возвращаетъ въ самомъ злѣ къ изначальной цѣлостности бытія. Но красоту въ мірѣ надо спасать — и это спасеніе красоты въ мірѣ только и возможно какъ оцерковленіе міра и души.

7. Намъ незачѣмъ продолжать развитіе этихъ

мыслей, потому что мы переходимъ уже за грани того, что успѣлъ сказать Достоевскій. Намъ важно не досказать за него то, что не успѣлъ онъ выразить, а понять діалектику въ его мысли и философски осмыслить тотъ переломъ, который въ немъ произощелъ.

Философская позиція Достоевскаго была въ черсзвычайно глубокой степени охвачена натурализмомът. с. върой въ естество, въ силу и правду естсства. Приближеніе къ тайнъ зла во время пребыванія на каторгъ явилось основной силой въ діалсктикъ исканій Достоевскаго, ибо оно разрушало и наивный оптимизмъ всякаго просвъщенства и освъщало «тьму» въ «естествъ». Таинственно плъненный видъніемъ этой тьмы Достоевскій хотълъ до конца ее обнажить, самъ держась все же за нѣсколько преображенный натурализмъ — за въру въ «почву», въ народную душу, въ геній народа. Изъ этой въры его старое поклонение красотъ, вся его «Шиллеровщина» перешли въ эстетическую утопію, въ новую горячую въру въ спасающую силу красоты, въ прсображающій смыслъ восторга и изступленія, въ преображсніе черезъ святость нашего сстества, въ возможность черезъ святость обновленія и востановленія — въ порядкѣ «эволюціи», свободной, но «естественной» для человъка. Но ужс въ періодъ оформленія этой утопіи у Достоевскаго стала все трсвожнъе и мучительнъе выступать «загадка» красоты — пока онъ не дошелъ до сознанія того, что сама красота въ міръ въ плъну, что не она можетъ насъ спасти, но что ее нужно спасать. Это разрушало не только эстеческую утопію, но по существу разрушало весь наивный натурализмъ, освобождало его пониманіе христіанства отъ той натурализаціи, которая не давала Достоевскому до конца понять всю тайну церковности и ся прохожденія черезъ исторію, черезъ міръ.

Достоевскій умеръ, не досказавъ того, что ему открылось. А намъ можно досказать его мысли до конца лишь въ томъ случаѣ, если мы поймемъ діалектику исканій Достоевскаго, поймемъ, почему красота стала для него «загадкой».

В. В. Зъньковскій.

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ФИЛОСОФІИ СПИНОЗЫ.

(Къ 300-лѣтію дня рожденія 24 ноября 1632).

За три въка, истекшіе теперь со дня рожденія Спинозы, его религіозно-философское міровоззрѣніе не только подвергалось самымъ многообразнымъ оцѣнкамъ, но и судьбу, которую по ръзкости перемънъ можно назвать драматической. Въ теченіе болье въка, до конца 18-го, въка религіозное общественное мнѣніе Европы съ отвращеніемъ и ужасомъ смотръло на Спинозу, какъ на вреднъйшаго и безстыднаго атеиста; и многіе изъ французскихъ философовъ эпохи просвъщенія, какъ Бэйль и Вольтеръ, по существу не отличались отъ этого сужденія върующихъ — они усматривали въ системъ Спинозы просто безсмысленную нельпость. Это отношение смынилось вы Германіи въ концѣ 18-го вѣка восторженнымъ прославленіемъ Спинозы. Въ 1785 г. Якоби опубликовалъ свой разговоръ съ Лессингомъ, въ которомъ послъдній жаловался, что со Спинозой обращаются, какъ «съ мертвымъ псомъ» и признавался въ своей любви къ его идеямъ. Самъ Якоби считалъ, что всякая послъдовательная раціональная философія должна быть спинозизмомъ, отвергая, однако, именно въ силу этого, идею раціональной философіи. Гердеръ, Гете, Шлейермахеръ прославляли глубокую, чистую и безкорыстную религіозность мыслителя, который незадолго до того считался отъявленнымъ наглымъ атеистомъ. Гегель въ своей исторіи философіи съ свойственнымъ ему чутьемъ къ пониманію своеобразій духовныхъ явленій разъяснилъ, что пантеизмъ Спинозы, утверждающій тождество «Бога и природы», есть не атеизмъ, а акосмизмъ: въ системъ Спинозы исчезаеть не Богъ, будто бы замъняемый природой, а, напротивъ, міръ, безъ остатка растворяемый въ Богъ. Затъмъ во второй половинъ 19-го въка, въ связи съ общимъ упадкомъ философскаго творчества, страстное отношеніе — положитель-

ное или отрицательное — къ философіи Спинозы вообще исчезаеть, смфняясь основательнымъ историко-философскимъ изученіемъ его міровоззрѣнія. Куно-Фишеръ въ своей «Исторіи философіи», слѣдуя гегельянской схемѣ прямолинейнаго діалектическаго развитія идей въ исторіи философіи, изображаеть систему Спинозы, какъ чистый раціонализмъ, какъ послѣдовательное, безстрашное доведение до конца направления Декарта. Эта явно односторонняя оцънка вызываеть тотчась же возраженія. Въ 1862 г. была открыта юнощеская работа Спинозы на голландскомъ языкъ (повидимому, дошедшая до насъ въ голландскомъ переводъ съ латинскаго оригинала): «Краткій трактать о Богь, человькь и его блаженствь», въ которой очень отчетливо выступаютъ ранніе и, слѣдовательно, первичные мотивы философіи Спинозы. Опираясь на эту работу, рядъ изслѣдователей открываютъ иные, нераціоналистическіе источники его міровозэрѣнія. Бреславльскій раввинъ Іоэль устанавливаетъ зависимость Спинозы отъ средневъковаго еврейскаго богословія, Авенаріусь и Зигварть сближають его идеи съ идеями Джордано Бруно, ученый спинозистъ Фрейденталь открываетъ глубокое вліяніе на Спинозу схоластики. Эти различныя пониманія, въ сущности, не противоръчать другь другу: въ нихъ устанавливается общее, прошедшее черезъ разные каналы, вліянія на Спинозу новоплатонической мистики и тъмъ самымъ утверждается, вопреки Куно-Фишеру и господствующему возэрѣнію вообще, мистическій элементъ въ ученіи Спинозы. Въ концѣ 19-го вѣка у насъ въ Россіи воскресаетъ въ полемикѣ между Вл. Соловьевымъ и А. Введенскимъ, старый споръ объ атеизмъ или религіозности міровоззрѣнія Спинозы: Введенскій считаетъ пантеизмъ Спинозы послѣдовательнымъ атеизмомъ, тогда какъ Вл. Соловьевъ утверждаетъ религіозность Спинозы и признается во вліяніи Спинозы на его собственные первоначальныя религіозныя воззрѣнія. Въ наше время, несмотря на вновь наступившій общій упадокъ интереса къ философіи Спинозы, учреждается (къ 250-лѣтію смерти Спинозы въ 1927 г.) международное ученое общество его имени, издается «Bibliotheca Spinozana» (собраніе документовъ и изслѣдованій, относящихся къ его жизни и ученію) и впервые опубликовывается, трудами Гейдельбергской академіи наукъ подъ редакціей Гебхарда, подлинно критическое изданіе его трудовъ.

Всъмъ извъстно, что философія Спинозы есть пантеизмъ, утвержденіе единства Бога и міра. Но «пантеизмъ» есть общее названіе, въ которое вмъщается довольно разнородныя въ другихъ отношеніяхъ направленія мысли. Обычно пантеизмъ принято отожествлять съ натурализмомъ, съ подмѣной Бога — природой, т. е. съ слѣпотой, не способной въ бытіи усмотрѣть

ничего, кромъ системы природы. Что система Спинозы не есть просто и только натуралистическій пантеизмъ — это показалъ, какъ указано выше, уже Гегель. Нельзя, конечно, отрицать, что въ составъ этой системы входитъ и элементъ натурализма. Именно изъ упомянутаго выше «Краткаго трактата» отчетливо видно, что одной изъ существенныхъ интуицій Спинозы была интуиція «единства всей природы»; безспорна связь Спинозы сь натурализмомъ эпохи возрожденія; извъстна его близость въ юности къ натуралистическому кружку ванъ-Энде въ Амстердамъ. Однако, натурализмомъ не только не исчерпывается смыслъ спинозовскаго пантеизма, но онъ не составляетъ его наиболъе глубокаго и первичнаго смысла. Не опредъляетъ подлиннаго существа ученія Спинозы и обусловленный картезіанскимъ раціонализмомъ математическій пантеизмъ, который не только опредълилъ извъстную форму изложенія его системы въ «Этикъ» (форму учебника геометріи), но и старался на ея содержаніи, именно на одной изъ центральныхъ мыслей Спинозы, по которой «всѣ вещи вытекаютъ изъ Бога такъ, какъ изъ природы треугольника — равенство его угловъ двумъ прямымъ».

Монистическаго объясненія источниковъ и смыслъ философіи Спинозы дать вообще невозможно. Эта, мнимо столь логически послѣдовательная система идей, слагается въ дѣйствительности изъ комбинаціи различныхъ мотивовъ. Вѣрнѣе сказать: какъ всякая вообще философская система, она исходитъ изъ одной первичной опредѣляющей интуиціи, которая, однако, въ силу сверхраціональности всякой интуиціи, не можетъ быть выражена въ одной логической схемѣ и пользуется для своего отвлеченнаго выраженія комбинаціей ряда отвлеченно выраженныхъ тенденцій.

Въ этой своей основной и первичной интуиціи философія Спинозы во всякомъ случаъ болъе глубока, чъмъ и натурализмъ и раціонализмъ. Совершенно несомнѣнно, что она приближается къ интуиціи новоплатонизма, но даеть ей свое особое выраженіе. Чтобы понять ея истинный смыслъ, удобнъе всего исходить изъ уясненія загадочнаго для ея толкователей пункта системы Спинозы — сочетанія въ ней ученія о нераздѣльномъ исконномъ ее простомъ единствъ Бога, какъ единой безконечной субстанціи всего сущаго, съ ученіемъ о совершенной разнокачественности и раздъльности «аттрибутовъ» или качествъ Бога, изъ безконечнаго числа которыхъ человъческому уму доступны два: «протяженность» и «мышленіе». Ученіе о единствъ аттрибутовъ въ субстанціи понимается обычно, какъ психофизическій монизмъ: тълесный и душевный міръ суть не отдъльные міры, а неразрывно между собой связанные, хотя и не соприкасающіеся и не взаимодъйствующія стороны одной, внутренне-единой и

простой «субстанціи», равнозначной Богу. Не подлежить, конечно, спору, что натуралистическая концепція единой вселенной, открывающейся намъ съ своей физической и психической стороны, входить въ составъ міровозэрізнія Спинозы. Но основной смыслъ ученія о двухъ «аттрибутахъ» Бога и ихъ единствъ все же иной, гораздо болъе глубокій. Его можно ближайшимъ образомъ опредълить, какъ гносеологическій монизмъ, опирающійся на интуитивистическую теорію знанія (1). Спиноза самъ поясняеть свою мысль примъромъ: кругъ, какъ пространственная реальность, и наша «идея» этого круга есть одно и то же, лишь разсматриваемое съ двухъ сторонъ. Это есть идеапреализмъ --убъжденіе, что бытіе не есть ни слъпая, чуждая духу реальность (точка зрѣнія обычнаго реализма), ни чистый духъ (точка зрѣнія идеализма), а нѣчто третье, объемлющее то и другое, и притомъ не какъ различныя свои части, а какъ слитныя и лишь отвлеченно различимые моменты первичнаго единства. Характерно, что Спиноза при этомъ ссылается на «нъкіихъ еврєевъ», которые учили, что «Богъ, разумъ Бога и постигаемыя имъ вещи есть одно и то же» (имъются въ виду средневъковые еврейскіе богословы, въ особенности Хаздай Крескасъ). Спиноза по существу повторяеть древнюю мысль Парменида: «одно и то же есть мысль, и то, о чемъона мыслитъ», развитую Плотиномъ въ цълое систематическое ученіе о сверхсущемъ и сверхраціональномъ «Единомъ», которое на второй, нисшей ступени, въ качествъ «бытія» дифференцируется на соотносительные моменты «мышленія» и «мыслимаго». Если присоединить къ этому ученіе Спинозы о качественной безконечности Бога, выражаемой въ безчисленныхъ его аттрибутахъ, изъ которыхъ намъ доступны только два (протяженность и мышленіе) и его ученіе объ интуитивномъ знаніи, которое есть не отвлеченно-предметное постиженіе, а «переживаніе самихъ вещей и наслажденіе ими», то мы убъдимся въ томъ, что Спиноза, несмотря на свой раціонализмъ и на явную примъсь натурализма, былъ своеобразнымъ мистикомъ. Его мистика — не только по ея методу, но и по ея содержанію — можеть быть опредълена, какъ мистика созерцательнаго познанія. Весь міръ есть для него не что иное, какъ реальность идей и ихъ видоизмъненій въ умъ Бога; актъ творенія міра и акть познанія или развертыванія идей въ умѣ Бога есть одно и то же; и наше адэкватное познаніе, въ которомъ всеобъемлющая реальность предстоить намь, какь идея, или въ лицъ идей мы имъемъ саму реальность, есть наше пріобщеніе къ таин-

^{*)} Этотъ смыслъ «ученія Спинозы объ аттрибутахъ» я пытался подробно разъяснить въ статьт подъ этимъ заглавіемъ въ Вопр. Филос. Психолог. 1912, кн. 114.

ственному акту творческаго развертыванія идей реальностей въ Богѣ, какъ и мы сами, наши души, суть не что иное, какъ модификаціи Божьей мысли. Спиноза настолько упоенъ и захваченъ этой интуиціей мистическаго всеединства Бога (тайна котораго, несмотря на сверхраціональность Бога, именно его качественную безконечность и абсолютную внутреннюю простоту, раскрывается намъ въ идеалреалистической природъ чистой мысли), что все остальное въ бытіи исчезаеть оть его взора, превращается въ ничто, или какъ бы лишь въ легкую поверхностную рябь на лицъ Божіемъ или въ колеблющееся прозрачное одъяніе Божіе. Весь остальной характеръ его систе мы и вся ея грандіозная односторонность, единственное въ своемъ родъ въ исторіи мысли сочетаніе въ ней величія мысли съ бъдностью и упрощенностью вытекають отсюда: относительность понятій добра и зла по сравненію съ безконечнымъ совершенствомъ всеединства, отрицаніе всяческой изначальности или субстанціальности отдільныхъ существъ, поэтому отрицаніе и свободы воли, и индивидуальнаго безсмертія, и наконецъ отрицаніе личнаго начала и въ существъ Бога и въ отношеніи между человъкомъ и Богомъ. Послъдній моментъ надо тоже отчетливо уяснить, избъгая ошибки его отождествленія съ безличнымъ натуралистическимъ пантеизмомъ. Если Спиноза говорить, что между «разумомъ Бога» и «разумомъ человѣка» существуетъ примърно такое же безконечное различіе, какъ между «созвъздіемъ» «Пса» и «псомъ, лающимъ животнымъ», то онъ не хочетъ этимъ сказать, что Богъ тождественъ слѣпой, безличной природъ, а лишь утверждаетъ, что абсолютный разумъ не только количественно, но и качественно несравнимъ съ ограниченно-индивидуальнымъ сознаніемъ человъка. Или, какъ это выражалъ спинозистъ Гете: «профессоръ есть личность, Богъ не есть личность».

Основной, чисто логическій порокъ этой системы идей обусловлень, однако, еще и тымь, что свою мистическую интуицію Спиноза пытается выразить не только въ раціональныхъ формахъ (какъ это дылаетъ всякая философія), но и въ формахъ раціоналистическихъ. Въ связи именно съ моментомъ мистики чистой мысли стоитъ его выра въ адэкватность «математическаго», т. е. отвлеченно-логическаго порядка идей. У Спинозы, правда, въ идет качественной безконечности, въ идет единства логической -разнородныхъ аттрибутовъ мелькаетъ основной мотивъ «отрицательнаго богословія» и потенціально содержится даже мысль о сверхраціональномъ познаніи Сущаго въ формъ «единства противоположностей» (основная мысль системы Николая Кузанскаго, опирающагося на традицію восточнаго мистическаго богословія). Но этотъ мотивъ подавленъ

у него мотивомъ раціонализма. Ему недоступна діалектика абсолютнаго. Потому Богъ, какъ Абсолютное, несовиъстимъ у него ни съ чъмъ относительнымъ и частнымъ, безпощадно поглощаеть въ себъ все остальное, не оставляеть мъста ни для чего иного, тогда какъ абсолютное становится истинно Абсолютнымъ только, какъ единство абсолютнаго и относительнаго. У Спинозы все находится въ Богъ, но Богъ не находится ни въ чемъ. Замъчательна при этомъ роковая діалектика идей. Утвержденіе совершенной, безусловной имманентности Бога приводить неизбъжно къ утвержденію его абсолютной качественной трансцендентности, т. е. къ признанію его абсолютной инородности творенію; а тъмъ самымъ, поскольку твореніе все же есть какая то реальность, отрицать которую безоговорочно немыслимо, эта реальность просто не находить для себя мъста въ системъ Бытія и оказывается чъмъ то постороннимъ и чуждымъ Бога. Утвержденіе божественности міра, его бытія въ Богѣ, парадоксальнымъ образомъ приводитъ къ отрицанію и отверженію всего міра, къ уничижительному отношенію къ нему, какъ къ чему то призрачному, не-сущему, ничтожному, — съ чъмъ связанъ и весь характеръ этики Спинозы, для которой въ жизни нътъ ничего цѣннаго, кромѣ чистаго созерцанія, отворачивающагося отъ живого многообразія и творческаго развитія міра. Именно пантеизмъ Спинозы не можетъ достигнуть истиннаго всеединства.

Если бы Спиноза, преодолъвъ раціонализмъ, мышленіе въ разсудочныхъ формахъ понятія, въ которомъ «одно» есть всегда отрицаніе «другого», развилъ (несомнѣнно потенціально присущую ему) идею «единства противоположностей», то его абстрактный пантеизмъ превратился бы въ конкретный панентеизмъ. Тогда не только все было бы для него въ Богъ, но и Богъ быль бы во всемь. Ему не пришлось бы тогда во славу Бога обездушить и обезбожить міръ и въ особенности человъка; напротивъ, своеобразіе человъческаго духа съ присущей ему свободой, изначальностью, нравственной цълестремителью было бы естественнымъ выраженіемъ истиннаго вездъсущія Бога, именно Его присутствія въ послѣдней глубинѣ человѣческой личности и всего истинно-сущаго. Абстрактная идея пантеистическаго --и именно потому, парадоксальнымъ образомъ, внѣмірнаго и внъчеловъческаго Бога смънилась бы идеей конкретнаго, подлинно всеединаго и потому богочеловъческаго Бога.

Философское и религіозное заблужденіе Спинозы очевидно. Но не надо забывать, что не только субъективно Спиноза не быль атеистомь, а быль, какъ это правильно указали мыслители нъмецкой романтики, «богоупоеннымь человъкомъ» — въ мысли и въ жизни, — но что и объективно въ религіозно-философ-

скомъ міровозэрѣніи Спинозы содержитья вѣрный и цѣнный элементь: признаніе имъ мысли и мудрости однимъ изъ основополагающихъ моментовъ въ существѣ Бога. Оттого онъ могъ даже, на свой ладъ, признать Іисуса Христа «сыномъ Божіимъ», потому что въ немъ, «болѣе, чѣмъ въ комъ либо другомъ, воплотилась мудрость Божія» (хотя съ другой стороны истинное Боговочеловѣченіе кажется ему, въ силу его раціонализма, столь же противорѣчивымъ, какъ «явленіе круга въ треугольникѣ»). И тѣ, кто торопятся проклинать Спинозу за его ереси, забываютъ евангельское слово, что всякая хула простится человѣку, — тѣмъ болѣе, добавимъ отъ себя, всякое теоретическое заблужденіе — , не простится лишь хула на Духа. Но вся жизнь и мысль Спинозы была, хотя и въ несовершенныхъ и ошибочныхъ формахъ, сплошнымъ восхваленіемъ Духа и служеніемъ Ему.

С. Франкъ.

изъ итальянской религіозной жизни.

Ассизи.

За послѣднее время въ Ассизахъ не прекращаются празднества: въ і 926 г. — торжество 7-го стольтія смерти великаго Ассизскаго Учителя, въ 1930-мъ — королевское бракосочетаніе и освященіе новой усыпальницы Франциска, въ 1932-мъ — перенесеніе въ непосредственную близость его гробницы праха 4-хъ его учениковъ и сподвижниковъ: Фра Анжело, Леоне, Руффино и Массео, а также донны Іакопы ди Сеттесоли, его друга и ревностной почитательницы. Кажется ничего не было забыто въ этихъ торжествахъ для возвеличанія памяти великаго аскета Умбріи: пышныя процессіи во главъ съ Папскимъ Легатомъ, роскошные дары Собору священныхъ предметовъ, облаченія, церковной утвари, участіе представителей властей, школъ и всевозможныхъ Обществъ, свѣчи, фиміамъ, чудесные концерты органа и хоровъ ръчи, лекціи и даже средне-въковые костюмы. Забыть быль только францисканскій духъ мистическаго супруга Мадонны Нищеты, того, кто избралъ центральной точкой своего ученія покаяніе, смиреніе и добровольную бъдность. Что сказалъ-бы онъ, непримиримый врагъ всякой гордости, темнаго тщеславія, богатства и пышности, видя себя предметомъ почти божескаго поклоненія, окруженнаго золотомъ и фиміамомъ въ мѣстѣ своего послѣдняго успокоенія, которое онъ завѣщалъ сдѣлать смиреннымъ и нищенски простымъ, какъ и вся его жизнь? Не отшатнулся-ли бы онь сь ужасомь оть такого воздаянія своихь «послѣдователей», исказившихъ его чистый, трагическій образъ и не искалъ-ли бы отраднаго одиночества Верны, святой горы, гдъ вкусилъ невъдомыя міру муки плоти и восторги духа отъ близости Христа?

^{*)} Бракосочетаніе Итальянской Принцессы Джіованни съ Болгарскимъ Королемъ Борисомъ.

Удивительно что этотъ «самый итальянскій изъ святыхъ» и «самый святой изъ итальянцевъ», какъ почему-то его называютъ въ Италіи, именно на родинъ понять очень мало. Личность Франциска есть такое-же исключительное явленіе въ области человъческаго духа, какъ геніальный умъ Ньютона, Леонардо да Винчи, Гете — въ области науки и искусства. Въ нашемъ бъдномъ человъческомъ языкъ нътъ выраженія для опредъленія этого «дара свыше». Его можетъ быть можно было-бы назвать «геніемъ духа». Францискъ не былъ ни угодникомъ, ни мученикомъ въ тъсномъ смыслъ слова. Онъ даже вовсе не былъ рожденъ «святымъ» и многіе его сподвижники были святье его. Но можетъ-быть онъ былъ больше чамъ святой: безмарно великая душа, томившаяся жаждой небывалаго подвига, «геній духа», великій борецъ съ Дьяволомъ не только въ мірѣ, но еще болъе въ себъ самомъ, покаянный Псалмъ, могучій преобразователь душъ силою смиренія и Любви.... Каждая побъда, каждая ступень восхожденія стоили ему борьбы и муки духа и плоти, которая не хотъла умирать.... И центромъ поклоненія и приближенія къ Божеству онъ избралъ Крестъ, занявшій преобладающее мъсто въ его жизни: Крестъ, съ котораго призваль его Распятый, кресть, который со страстнымь рвеніемь несь онь всю жизнь до послъдней Божественной трагедіи святой Горы, гдв опять таки въ символическомъ образъ «распятаго» Херувимъ-Христосъ запечатлълъ его сліяніе съ Собою дарованіемъ блаженной муки Стигматовъ.... Вотъ онъ, «подвигъ небывалый», завершеніе долгаго и страдальческаго восхожденія: черезъ покаяніе и отреченіе сліяніе съ Первоисточникомъ въчнаго Свъта....

И изъ этого трагическаго образа мистика и духовнаго вождя своихъ современниковъ Католическая Церковь сдълала кроткую до слабости фигуру святого «Ассизскаго бъдняги», почти юродиваго проповъдующаго радость нищенства и разговаривающаго съ безсловесными тварями. Да, среди муки покаянныхъ слезъ которыя погасили для него еще при жизни земной свътъ онъ имълъ минуты «совершенной радости» (*) — но не надо забывать что эту совершенную радость видълъ онъ въ способности безропотно съ полной ясностью души, переносить незаслуженныя обиды и оскорбленія. Опять таки — высшій трагизмъ восхожденіе въ область, недоступную человъчеству — приближеніе ко Христу. Нътъ, онъ положительно не вмъщается въ рамки церковной святости: онъ гораздо больше гораздо исключительнъе.

Но если духъ его «усиліемъ» бралъ Царствіе Божіе, земная

^{*) «}perfete letizia». (Fioretti).

слава далась ему легко. Не потому ли умный Папа Гонорій III, несмотря на противодъйствіе кардиналовъ, съ необычною уступчивостью разръшилъ основаніе новаго Ордена Миноритовъ(*) и даровалъ полную индульгенцію — indulgentia plenaria маленькой забытой церкви Санта Марія делла Анжелла вопреки церковной традиціи, — что онъ во время понялъ, что этотъ смиренный монахъ съглазами мистика и душой героя опаснъе для Папскаго престола сильныхъ міра сего? Многіе историки и біографы Франциска отрицають въ немъ реформаторскій духъ; но ему просто не пришлось проявить его въ дъйствіи, такъ какъ непріятель слишкомъ поспъшно отступиль по всей линіи. Передъ нимъ заискивали, къ нему прислушивались его приглашали въ домъ епископы и кардиналы, призывали судьей и примирителемъ въ соціальныхъ распряхъ. Народъ открыто почиталъ его святымъ. Не прошло и 2-хъ лътъ съ его смерти, какъ онъ быль вознесень на алтарь, опять таки вопреки каноническимъ правиламъ, для того. чтобы сгладить передъ современниками и передъ исторіей огромность его реформаторскаго дѣла. И сталъ онъ «однимъ изъ католическихъ святыхъ» для невѣжественныхъ массъ, всегда готовыхъ съ умиленіемъ бѣжать за всякой пышной процессіей, и даже самый Орденъ, творчество его подвижничества, не остался ему въренъ, примъняя къ потребностямъ «современности» святые «чудачества» Ассизскаго бъдняги.

И съ какимъ то тягостнымъ недоумъніемъ прислушиваешься ко всей этой мірской сутолок в торжествъ на родин великаго Апостола Умбріи, сумъвшаго послъ долгой борьбы побъдить послѣднее искушеніе Дьявола, возненавидѣвъ суету и славу міра сего. И какъ будто въ отмщеніе за эту геройскую побъду, тотъ-же Дьяволъ толкаетъ его почитателей профанировать его память, нарушая его самыя дорогіе завѣты. Строгій до крайности къ себъ, но снисходительный къ другимъ, онъ одного никогда не могъ простить: малъйшей тъни гордости и тщеславія. Не повториль ли бы онъ своимъ лукавымъ, или невъжественнымъ поклонникамъ слова Христа: Какъ вы можете въровать, когда другъ отъ друга принимаете славу, а славы, которая отъединаго Бога, не ищете? **) Новая гробница его сдълана въ строгомъ и художественномъ стилъ, но не лучше-ли ему было покоиться до радостнаго утра въ неотесанномъ обломкъ Субазіевской горы, куда съ такою любовью и бережнымъ вниманіемъ къ памяти Учителя заключилъ его геніальный творецъ Ассизскаго собора фра Элія? Это трогательное погребеніе въ нѣдрахъ Природы послъднее объятіе родной скалы, было ближе по духу то-

^{*)} Frati Minore (1221). **) Отъ Іоанна гл. V — 44.

му, кто захотълъ умереть «голымъ на голой землѣ» и гдѣ его немощная плоть, бывшая при жизни его врагомъ, до того затерялась вѣками, что ее пришлось разыскивать для новаго погребенія.

И неужели его поклонники не нашли въ его живой дъятельности на благо ближняго достаточно матерьяла, чтобы почтить 7-ое стольтіе его смерти великими дълами милосердія и любви, на алтаръ которой сгоръла его краткая жизнь? Онъ несъ святую свою помощь преимущественно тамъ, кто были отверженцами, воэбуждавшими физическое и нравственное отвращеніе человъческаго общества: прокаженнымъ, преступникамъ, гръшникамъ. Развъ мало и теперь несчастныхъ, если не прокаженныхъ, то страдающихъ подобными-же страшными, отвратительными язвами, часто унаслѣдованными отъ предковъ? Развѣ мало малол втнихъ преступниковъ и покинутыхъ дътей, которымъ предстоитъ та же дорога? Почему устроители юбилейныхъ торжествъ, среди которыхъ были профессора, ученые, общественные даятели, не говоря уже о высшемъ церковномъ элементъ, не почтили его завътовъ, не воздвигли въ память «серафическаго отца — Serafico Patre, образцовой больницы для погибающихъ не столько отъ болѣзни, сколько отъ невозможности бороться съ ней? Почему не учредили во имя его Францисканскаго Комитета для подаянія братской духовной помощи заключеннымъ? «Если любите Меня, соблюдите заповъди Мои»...(*)

Но кромъ генія духа, Францискъ былъ и геній поэзіи. Пѣснь была ему присуща, какъ дыханіе. Прежде звучала она любовной страстью подъ балкономъ прекрасной дамы; потомъ очищенная отъ земной суеты, поднялась, какъ дымъ кадильный отъ руки Ангела передъ Богомъ. Онъ пълъ...Шелъ по тропинкъ родного лѣса нищій, почти нагой, въ одномъ плащѣ, которымъ прикрылъ его Ассизскій епископъ Гвидо на площади города послѣ суда съ отцемъ и пѣлъ пѣснь освобожденія отъ всѣхъ земныхъ оковъ, привътствовалъ вступленіе въ тъсныя врата, ведущія въ Царствіе Світа.... Піть въ узкой своей кельі, пълъ въ лъсу, гдъ состязался съ братомъ соловьемъ, отвъчавшимъ ему своей томно замирающей трелью, пѣлъ больной, уже почти слѣпой въ монастырѣ С. Даміано, гдѣ создалъ величайшее поэтическое произведеніе, гимнъ Любви въ Богѣ всего Сущаго, мистическое пріобщеніе къ душѣ всей Природы, Пѣснь Пѣсней Новаго Завѣта **)... Пѣлъ умирающій въ домѣ епископа въ Ріэти, такъ что братія просила его удалиться въ уединенный монастырь С. Марія делли Анжели, чтобы пѣснею

^{*)} Отъ Іоанна гл. XIV — 15. **) Canticum fratis solis (1225).

своей не вводить во искушеніе приближенныхъ епископа ожидавшихъ отъ него покаянныхъ слезъ въ предсмертные дни. Но для него покаянныя слезы были уже прошлымъ, подвигъ небывалый совершенъ, душа, освященная кровавыми язвами Стигматовъ, еще здѣсь, на землѣ получила залогъ Избранничества и осталась только великая радость Хвалы, Пѣснь Любви и восторга... И съ послѣдними звуками этой пѣсни отлетѣлъ духъ его въ обитель Свѣта...

Любовь Франциска къ Природъ въ поверхностномъ пониманіи извъстна всъмъ: нътъ ни одного итальянскаго зоофильскаго журнала, ни одной газетной статьи, пишущей противъ истязанія животныхъ, гдѣ бы ни упоминался «Серафическій отецъ», укрощающій брата-волка и проповѣдующій сестрамъ-птицамъ. Это сдълалось общимъ мъстомъ, нъсколько слащавымъ разсказомъ, годнымъ развъ для дътей, прежде, чъмъ всемірное мистическое значеніе «одухотворенія» Природы было понято, какъ новое откровеніе. И здісь то же фатальное умышленное, или неумышленное искаженіе Францисканскаго духа, ясновидъніе Природы, извъстнаго когда-то древности, но потомъ утраченнаго и забытаго. Францисканская литература, клерикальная и свътская, изучившія во всъхъ подробностяхъ жизнь и ученіе Ассизскаго Апостола, недостаточно выдълила его мистическое міропониманіе, какъ характерную черту его религіозной индивидуальности и оно осталось мертвой цанностью, не претворившись въ живую цълительную силу человъческаго духа. А между тымь это самый вырный, можеть быть единственный путь возрожденія человъчества: больше храмовъ и богослуженій, болье больниць, убъжищь для быдныхь и дытей, болье монастырей и проповъдей, конференцій мира и разоруженія, потому что онъ вмъщаетъ все это въ себъ одномъ, какъ Любовь вмъщаетъ всякое благо...

Вопросъ о милосердномъ эксплоатированіи живой Природы, т. е. о пріобщеніи ее къ великому дѣлу человѣческаго труда, составляеть одну изъ труднѣйшихъ проблемъ человѣческой совѣсти, — но до разрѣшенія его еще слишкомъ далеко тамъ, гдѣ совершаются чудовищныя истязанія ради наживы и потѣхи надъ живымъ существомъ, роднымъ человѣку по плоти и духу. Италія, какъ всѣ южныя страны, особенно нуждается хотя бы въ самой элементарной проповѣди милосердія къ живой Природѣ, заливающей своей мученической кровью несравненную красоту итальянской земли. Но въ защиту ея не раздалось ни одного голоса ни моралистовъ, ни философовъ, ни Церкви, ни даже педагоговъ, а только единичныя воззванія чьей-нибудь чуткой совѣсти и немногочисленныхъ Обществъ Покровительства животнымъ. Правда, за послѣдніе годы общества эти значи-

тельно умножились подъ воздѣйствіемъ Муссолини, искренняго любителя животныхъ, но даже въ самихъ Ассизахъ оно основано только недавно и дѣятельность ихъ такъ плохо организована и разрознена, что является мало плодовторной, тѣмъ болѣе, что и среди организаторовъ нерѣдко встрѣчаются лица, смѣшивающія этическія цѣли съ экономическими интересами, какъ будто стыдятся проявить слишкомъ большую чувствительность, называя ее «англо-саксонскимъ истеризмомъ».

И никому изъ почитателей Ассизскаго Учителя не пришло въ голову, что лучшимъ памятникомъ смиренному брату всѣхъ твореній Божіихъ было-бы не бронзовая фигура, не мраморный саркофагъ, не фиміамъ, свѣчи и восхваленія, а широко организованная дѣятельность распространенія любви къ Природѣ среди народа черезъ школу, летучія библіотеки и живое слово для подготовки новаго поколѣнія, незапятнаннаго страдальческой кровью меньшой братіи. Вѣдь эта любовь во Францискѣ не была однимъ поэтическимъ вдохновеніемъ, или религіозной философіей: она была Откровеніемъ, которое излучала его дуща въ ежедневномъ подвигѣ дѣйственнаго милосердія. «Если любите Меня, соблюдите заповѣди Мои»*),—но ихъ не соблюли, ихъ просто забыли, потому что онѣ не вмѣщались въ театральную программу юбилейныхъ торжествъ...

Что это: непониманіе, или малодушный страхъ насмѣшки надъ «чужестраннымъ» истеризмомъ? Или такъ ужъ глубоко погрязли мы въ «экономическихъ проблемахъ», что скрылся отъ насъ Ликъ Божій, сіяющій въ красотѣ мірозданія и не слышимъ мы призыва Его въ многоголосой хвалѣ Природы?

А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни Лица Его не видъли.... (**).

Анастасія Полотебнова.

Roma

^{*)} Отъ Іоанна гл. XIV 15. **) Отъ Іоанна гл. V — 37.

О КОСМИЧЕСКОМЪ РИТМѣ ЕВАНГЕЛІЙ

I.

Вопросъ о соотношеніи между евангеліями и космическимъ ритмомъ проходящаго черезъ двѣнадцать знаковъ Зодіака солнца открываетъ обширнѣйшіе горизонты. Этотъ вопросъ давно уже привлекалъ вниманіе экзегетовъ и критиковъ новозавѣтныхъ текстовъ. Лучше сказать: мысль о зодіакальномъ строѣ евангелій восходитъ къ самой сѣдой древности христіанства и всегда жила въ церковномъ преданіи. Лучшее доказательство этому — церковныя пѣснопѣнія. Однако данная мысль полузабылась въ преданіи. Она въ немъ, во всякомъ случаѣ, затемнена.

Что касается новъйшихъ попытокъ реставраціи космическаго пониманія евангелій — онъ связываются съ именами Эрбта, Штукена, Древса, Іенсена, Немоевскаго и др. — то при всей серьезности многихъ изъ этихъ попытокъ, при всей добросовъстности и напряженности усилій вышеназванныхъ авторовъ, при всемъ остроуміи многихъ ихъ догадокъ, все-же нельзя не видъть, что попытки эти часто идутъ мимо цъли и даже прямо отклоняются отъ нея.

Названные авторы сводять все вообще содержаніе евангелій къ «звѣзднымъ фактамъ», къ небеснымъ созвѣздіямъ, къ движеніямъ и процессамъ, имѣющимъ мѣсто въ небесномъ пространствѣ. Съ данной «астрально-миеологической» точки зрѣнія, предметомъ евангелій служитъ не земная, но астральная жизнь (прежде всего — жизнь солнца). Но спрашивается: гдѣ-же въ такомъ случаѣ — реальность Христа?.. Вдобавокъ, данная школа — какъ бы въ противорѣчіи съ основнымъ заданіемъ — воспринимаетъ небесныя движенія грубо матеріально, слишкомъ «по земному». Вмѣсто того, чтобы поднять землю на небо — къ чему она, будто-бы, стремится — она опускаетъ небо на землю; во всякомъ случаѣ, природа соотношенія между происходя-

щимъ въ астральномъ пространствѣ и въ земномъ планѣ, какъ это соотношеніе запечатлѣлось въ евангеліяхъ, ускользаетъ отъ нея. Такъ-то и отъ евангелій остается, въ ея пониманіи, одна «астральная миеологія», нѣкое суевѣрное звѣздочетство прошедшихъ временъ, нѣкая мистическая «игра» былыхъ, невѣжественныхъ поколѣній... И вмѣстѣ съ тѣмъ блѣднѣетъ, обращается въ призракъ, въ полное небытіе — жизнь Христа. Его существованіе на землѣ объявляется «не-историческимъ». Къ такому заключенію и приходятъ многіе представители данной школы.

И тѣмъ не менѣе «космическій ритмъ» евангелій есть фактъ, въ реальности котораго трудно сомнъваться... Къ раскрытію этого факта и направляется тотъ «третій путь», путь духовнаго познанія, о которомъ мнъ уже приходилось упоминать на страницахъ «Пути» (Декабрь 1930 г. и Октябрь 1931 г.). Идущіе въ этомъ направленіи, отличномъ и отъ только что охарактеризованнаго астрально-миннопогическаго метода и отъ традиціоннаго «историцистическаго» направленія либеральной критики, воспринимаютъ одинаково, а именно духовными очами, какъ происходящее въ небесномъ планъ, такъ и земныя свершенія, изображенныя въ евангеліяхъ. И нетрудно видъть, что именно идя по этому пути — легче всего воспринять богочелов вчество Христа, т. е., вмъстъ съ тъмъ, и фактъ его земной жизни: фактъ не поддающійся доказательству какими либо внѣшними документами, но воспринимаемый духовно. Для представителей духовнаго познанія реальное существованіе Христа является внутренней очевидностью. Но такою-же внутренней очевидностью — пусть и не облегченною въ формы догматики — является для нихъ и присутствіе въ евангельскомъ повѣствованіи и образахъ звѣздныхъ фактовъ и солнечныхъ ритмовъ.

Данная христологическая проблема имѣетъ нѣкоторую аналогію и въ буддизмѣ, аналогію, какъ разъ и указывающую на логическую ошибку тѣхъ, кто видитъ въ фактѣ космическаго ритма евангелій основаніе къ отрицанію историческаго существованія Іисуса Христа. Нѣкій звѣздный элементъ есть и въ повѣствованіяхъ о жизни Будды и, какъ указываетъ Германъ Беккъ (одинъ изъ наиболѣе блестящихъ представителей «третьяго пути»), элементъ этотъ даже сходенъ съ космическимъ ритмомъ евангелій (хотя и не тождественъ съ нимъ). Однако никому не пришло въ голову отрицать на этомъ основаніи фактъ земной жизни Будды, т. е. историческій характеръ его личности. И дѣйствительно: изъ того, что послѣдователи какого либо основателя религіи, видѣли въ немъ космическое существо и воспринимали его жизнь въ рядѣ солнечныхъ образовъ, — отнюдь еще не слѣдуетъ, что данная личность не существовала.

Но вмѣстъ съ тъмъ представители «третьяго пути» предо-

стерегають и оть противоположной, «историцистической», крайности. Для нихь правда евангелій не есть «историческая правда», въ обычномь смысль этого слова; для нихь эта правда — не только фактическая правда внышнихь физическихь событій: она гораздо шире и глубже этой правды. Такь, для Бекка противорычія евангелій, какь-бы ихь ни старались примирить, «остаются всетаки противорычіями». Дъйствительное примиреніе они могуть найти только въ духовномь плань, только на пути «духовнаго познанія», на пути къ постиженію «сверхчувственной реальности». И какь разь это познаніе способствуеть проникновенію въ реальность того евангельскаго содержанія, которое при всякомь иномь методь, т. е. на путяхь такь называемой свободной исторической критики, приводить къ заключенію объ его «не-историчности».

По этому поводу можно, дѣйствительно отмѣтить, что попытка исторической критики спасти «историчность» такъ называемыхъ синоптиковъ цѣною отказа отъ «историчности» евангелія отъ Іоанна (попытка эта связана главнымъ образомъ съ именемъ Пфлейдерера) не привела къ желаемой цѣли. И какъ разъ работы Бекка направлены къ тому, чтобы показать, что духовно-космическіе элементы занимаютъ особенно обширное мѣсто въ евангеліи отъ Марка, этомъ, какъ казалось исторической критикѣ, наиболѣе «земномъ» изъ евангелій. Беккъ показываетъ, что «космическій ритмъ», космическіе элементы, заполняютъ почти все содержаніе этого евангелія (*).

Но чтобы постигнуть содержание евангелій, надо прежде всего умъть ихъ читать. Такую методическую ихъ расшифровку и предоставляють собою работы Бекка. Съ его точки зрѣнія, евангелія не являются документомъ, въ обычномъ смыслъ этого слова. Это — тайнопись, документь посвященія. Евангелія — отраженія высшихъ переживаній духовнаго сознанія, и эти-то переживанія и составляють главнъйшее ихъ содержаніе. Такъ евангеліе отъ Марка является, съ точки зрѣнія Бекка, документомъ Іоанновскаго посвященія. И даже тамъ, гдъ ръчь идетъ, въ евангеліяхъ, о чисто земныхъ, казалось-бы, переживаніяхъ, съ ними связаны иныя, уходящія въ надэвъздныя области духа. Таково, напр., преображение Господа на Горъ. Но и иные евангельскіе образы суть образы духовныхъ фактовъ, реальность которыхъ переживается лишь повышеннымъ соэнаніемъ. Къ этой высшей реальности можетъ подойти лишь тотъ, кто найдетъ къ ней пути... На этихъ-то путяхъ вживанія въ еван-

76

^{*)} Изъ новъйшихъ работъ профессора Г. Бекка главнъйшія: «Der kosmische Rythmus in Markus-Evange-lium» и «Der kosmische Rythmus, das Ster-nengeheimnis und Erdengeheimnis im Io-hannes-Evangelium (Rudolf Gelring Verlag, Basel).

гельскіе образы и пріоткрывается, въ частности, сокровенная близость евангелій отъ Марка и отъ Іоанна...

2.

Но что разумѣетъ, въ сущности, авторъ подъ «космическимъ ритмомъ« евангелій?

Мы подойдемъ всего лучше къ отвѣту на этотъ вопросъ, послѣдовательно исключая то, что онъ не разумъетъ подъ нимъ.

послѣдующемъ изложеніи, изображеніе Разбирая, въ (въ VI главъ отъ Марка) «насыщенія пяти тысячъ», Беккъ показываеть, что оно находится подъ зодіакальнымъ знакомъ Рыбъ. Я не могу въ настоящемъ краткомъ очеркѣ касаться подробностей мотивировки автора. Укажу лишь, что она находитъ подтверждение въ паралельномъ мѣстѣ евангелія отъ Іоанна (VI, 4), гдѣ сказано: «приближалась-же Пасха, праздникъ іудейскій»; между тѣмъ солнце въ это время дѣйствительно находилось, приближаясь къ переходу въ созвъздіе Овна, еще въ созвъздіи Рыбъ... Такимъ образомъ Беккъ допускаетъ въ этомъ случаѣ (и въцѣломъ рядѣ другихъ) полное совпаденіе внѣшнесловеснаго смысла евангельскаго изображенія и событій, которыхъ оно касается, — съ нахожденіемъ солнца въ томъ или иномъ знакѣ Зодіака. Но значитъ-ли это, что такое совпаденіе или соотвътствіе земныхъ событій, изображенныхъ въ евангеліяхъ съ небесною картою, имѣло бы мѣсто всегда, т. е. во всѣхъ фактахъ, которые изображаютъ евангелія и во всякой ихъ подробности? Нѣтъ, не значитъ!

Евангелія, съ точки зрѣнія автора, не суть гороскопъ... Такую попытку «гороскопировать» евангелія (и именно евангеліе отъ Марка), т. е. свести любой ихъ отдѣлъ къ нѣкоей проэкціи небесныхъ фактовъ и карты звізднаго неба, представляла извъстная книга Артура Древса, наиболъе виднаго представителя упомянутаго выше «астрально-миеологическаго» направленія. Но, не слѣдуя Древсу, Беккъ всетаки не отмежевывается отъ него (въ данномъ пунктъ) слишкомъ ръзко. Онъ допускаетъ, что и «духовному познанію» удастся, можетъ быть, въ будущемъ — установить точное и постоянное соотвътствіе между фактами астральной зоны и евангельскимъ изображеніемъ... Какъ-бы то ни было, но главное расхождение Бекка съ Древсомъ заключено не въ отрицаніи первымъ данной возможности. Подобно Древсу, Беккъ видитъ въ евангеліяхъ не историческій разсказъ, во всякомъ случаѣ, не только историческій разсказъ, не только описаніе внѣшнихъ физическихъ фактовъ. И для него евангелія созвучны небеснымъ сферамъ. Однако — не въ Древсовскомъ смыслъ. Беккъ видитъ въ евангеліяхъ прежде всего духовные факты. Но выраженіемь такихь-же «духовныхь фактовь»

служить для него, въ конечномъ итогъ, и сама небесная карта, тайная звъздность неба. Въ этомъ — существеннъйшій пунктъ расхожденія между Древсомъ и Бекксмъ, между астральномивологическимъ направленіемъ и направленіемъ «духовнаго познанія».

Но даже тамъ, гдѣ Беккъ не расходится съ Древсомъ слишкомъ рѣзко, ихъ взгляды и точки зрѣнія не совпадаютъ. Впрочемъ, для пути «духовнаго познанія» нѣтъ даже особой нужды — цѣпляться во всѣхъ случаяхъ и во что-бы то ни стало за «астрально-миеологическія» построенія, нѣтъ даже особаго соблазна — поддаваться имъ. Это прямо вытекаетъ изъ только что сказаннаго о природѣ духовнаго познанія. Оно направлено на духовные элементы, какъ земного, такъ и надзвъзднаго тра. Оно видитъ прежде всего — и тамъ и здѣсь — эти духовные элементы. И именно въ такомъ духовномъ смыслѣ и понимается имъ — прежде всего — и «космическій ритмъ».

Этотъ ритмъ является для даннаго направленія нѣкіимъ фактомъ духовнаго порядка. А годовое прохожденіе солнца чрезъ двѣнадцать созвѣздій (знаковъ Зодіака) является лишь внѣшнимъ отраженіемъ этого факта въ звѣздописи неба. Но этотъ же «космическій ритмъ» сказывается и во всемъ существованіи человѣка и міра... Въ высшей степени интересны указанія автора на его отраженія въ области музыки. Но мнѣ приходится опустить, за недостаткомъ мѣста всю «музыкальную» часть построеній Бекка, весьма наглядную и очень существенную.

Укажу лишь бъгло на отраженія и дъйствія космическаго ритма въ чувствъ микрокосма — человъка. Четыре космическія точки — зимняго и лѣтняго поворота солнца, весенняго и осенняго равнодъйствія — чувствуются и отражаются и въ жизни человъка. Чувствуется имъ и лунный ритмъ. Такъ каждый изъ четырехъ крупныхъ отръзковъ солнечнаго круга опредъляемыхъ вышеупомянутыми четырьмя точками, дълится «естественно» на три части и всего получается такимъ образомъ двънадцать отръзковъ, изъ которыхъ каждый стоитъ подъ однимъ изъ знаковъ Зодіака. Овенъ, время пробужденія природы, начинаетъ кругъ. Телецъ вноситъ въ нее цвътеніе, а Близнецы подготовляють созрѣваніе. Послѣднее обозначается еще рѣзче при вступленіи солнца въ знакъ Рака; но само солнце начинаетъ съ этой точки свое попятное движеніе (откуда и названіе созвѣздія)... Знакъ Льва означаетъ время полнаго созръванія и наибольшаго зноя, а созвъздіе Дѣвы есть созвъздіе «прощальной» осени. Затъмъ Въсы уравновъшиваютъ день съ ночью. Въ дальнъйшемъ солнце вступаетъ въ знакъ Скорпіона: это созвѣздіе смерти. Стрѣлецъ, Козерогъ и Водолей осѣняютъ мѣсяцы зимняго сна и подготовленія. Кругъ замыкается знакомъ Рыбъ, созвѣздіемъ, возвъщающимъ новую жизнь.

Уже въ этомъ смыслѣ, созвѣздія Зодіака входять въ нашу жизнь, въ насъ самихъ. Но они живуть въ насъ и въ иномъ смыслѣ. Древнее преданіе называло голову человѣка-микрокосма обиталищемъ космическаго Овна. Вотъ какъ трактуется эта локализація Беккомъ: духовныя силы, дѣйствующія въ нашей головѣ, притекаютъ изъ той сферы космоса, которая отмѣчается знакомъ Овна. Но подобно тому, какъ изъ головы стремится наша мысль къ небу, подобно тому, какъ въ ней зарождается свѣтъ очей и мышленіе, — такъ и бедра поддерживаютъ наше равновѣсіе: они соотвѣтствуютъ небесному знаку Вѣсовъ. Въ этомъ же смыслѣ двойственность плечей является микрокосмическимъ знакомъ Близнецовъ...

Я не буду перечислять всъхъ указываемыхъ авторомъ соотвътствій между строеніемъ нашего тъла и живущихъ въ немъ духовныхъ силъ и возможностей и звъздописью неба, тъмъ болѣе, что многія изъ этихъ соотвѣтствій являются по меньшей мъръ спорными. Но укажу, что въ пониманіи автора соотвътствія эти имъють непосредственное отношеніе къ «космическому ритму» евангелій. Въ этомъ отношеніи особое мъсто занимаетъ знакъ Рыбъ, соотвътствующій, въ тълъ микрокосма-человъка, ногамъ. Именно при посредствъ ногъ человъкъ входитъ, прежде всего, въ соединение съ землею, съ силами земли. Въ этомъ смыслъ — на это указываетъ и церковное преданіе — Рыбы и были какъ-бы преимущественнымъ знакомъ Христа. Въ знакѣ Рыбъ, какъ увидимъ далѣе, и произошло, въ Его лицѣ, соединеніе Неба съ Землею, соединение небеснаго и земнаго ритмовъ. И этотъ-же знакъ облегчаетъ намъ введение евангельскаго повъствованія въ небесную звъздопись... Какъ извъстно, древнее преданіе связывало тайну Христову съ тайной Рыбъ. И въ этомъ смыслъ построенія и догадки автора, пусть они и не даютъ намъ окончательнаго отвъта, все-же, повидимому, ближе подходять къ этимъ тайнамъ, чемъ, напр., известное и, несомненно, весьма позднее анаграмматическое объяснение христологическихъ знаковъ Рыбы и имени Ίχδὺς: Ἰησοῦ ςΧριστὸς δςοῦ νίος σωτήρ (Іисусъ Христосъ, сынъ Божій, Спаситель).

3.

Беккъ подробно останавливается на физической и метафизической дъйственности созвъздій Зодіака и раскрываеть значеніе самихъ ихъ именъ, приводя ихъ въ связь съ отдъльными линіями евангельскаго повъствованія и общимъ его ходомъ. Тъмъ не менъе видъть въ евангеліяхъ какъ-бы нъкую точную фотографію движеній звъзднаго неба было бы уже потому неправильно, что движенія эти нынъ уже не вполнъ совпадають съ положеніемъ, бывщимъ въ началъ нашей эры. Разница объясняется

такъ называемой процессіей равнодъйствія, въ силу которой послѣднее, а вмѣстѣ съ нимъ и другіе солнечные пункты, нѣсколь ко отклонились отъ положенія, бывшаго во время жизни Христа. Такъ, напр., пунктъ весенняго равнодѣйствія, находившійся въ началѣ нашей эры въ созвѣздіи Овна, нынѣ перешелъ въ созвѣздіе Рыбъ, т. е. наступаетъ немного раньше. Положеніе-же, бывшее въ началѣ нашей эры, повторится лишь черезъ 25.920 лѣтъ. Но въ ту эпоху, когда въ Христѣ встрѣтились небесный и земной ритмы, небесная звѣздопись вполнѣ соотвѣтствовала жизни земного года. Это-то небо начала нашей эры и имѣетъ всегда въ виду Беккъ.

На звъздномъ небъ видны одновременно лишь семь созвъздій Зодіака. Остальные пять невидимы: они находятся подъ горизонтомъ. И уже въ этомъ смыслъ можно говорить о семи верхнихъ и свътлыхъ и пяти нижнихъ и темныхъ знакахъ Зодіака. И вмъстъ съ тъмъ можно назвать Овна, Тельца, Близнецовъ, Рака, Льва, Дъву и Въсы, т. е. свътлыя созвъздія, созвъздіями лътними, а «темныя созвъздія» (Скорпіонъ, Стрълецъ, Козерогъ, Водолей и Рыбы) — зимними. Зимнія созвъздія видны, въ ночномъ небъ, лътомъ, а лътнія — зимою. «Лътнія» созвъздія (т. е. видимыя зимою) свътлъе «зимнихъ» не только вслъдствіе большаго своего блеска, но и потому, что дуга Зодіа-ка протягивается въ зимнемъ небъ выше, чъмъ въ лътнемъ.

Высшую точку этой дуги занимаетъ созвъздіе Близнецовъ. Оно высоко стоитъ надъ созвъзіями Сиріуса и Оріона (не входящими въ Зодіакъ). Эти наиболъе свътлыя изъ созвъздій особенно чтились въ традиціи древнихъ мистерій: въ нихъ воспринималось высшее откровеніе божественнаго. Сиріусъ есть звъзда Заратустры и Изиды, а Оріонъ — звъзда Озириса. Область этихъ звъздъ называлась въ древней традиціи мистерій «Горою Неба» и, походя изъ этой традиціи, Беккъ видитъ въ этой горненебесной области соотвътствіе Горы, на которой молится Христось и наставляетъ «двънадцать» (Марка, III, 13-14). Такъ и въ самихъ небесныхъ Близнецахъ», въ созвъздіи Зодіака этого имени, авторъ видитъ нъкій звъздный прообразъ братской четы сыновъ «Заведеевыхъ» (Іакова и Іоанна).

Къ небесному знаку Стрѣльца примыкаетъ темная область Козерога, самаго неяркаго изъ всѣхъ созвѣздій Зодіака. Въ традиціи древнихъ мистерій эта область неба называлась «небесной пустыней». Она же — область душевнаго уединенія. Это относится и къ созвѣздію Водолея, преломляющемуся, въ евангеліяхъ, въ Іоаннѣ Крестителѣ и его водномъ крещеніи. Къ Водолею-же примыкаетъ темная бѣдная звѣздами, область Рыбъ. Это, въ нѣкоторомъ смыслѣ «нулевой пунктъ» круга Зодіака, пунктъ рожденія свѣта во тьмѣ (а въ евангеліяхъ — рожденія свѣта Христова).

Но это все — лишь приближенія къ темѣ Бекка, а не сама его основная тема. Приближеній этихъ очень много, и я сдѣлалъ выше лишь нѣсколько намековъ на нихъ. Въ отдѣльности каждое изъ нихъ довольно тускло, но въ общемъ они даютъ нѣкую цѣльную картину, во всякомъ случаѣ, нѣкоторую загрунтовку картины, облегчающую воспріятіе и самой темы.

Что касается этой темы, то она раскрываетъ троекратное прохождение солнца Христова чрезъ двѣнадцать небесныхъ знаковъ: къ этому и сводится, въ конечномъ итогѣ, «космическій ритмъ» евангелія отъ Марка, совокупности его изображеній отъ крещенія въ Іорданѣ до смерти на Галгоеѣ. Само евангеліе распадается, съ этой точки эрѣнія на три круга солнечнокосмическаго ритма. Но эти три круга не повторяють одинь другой. Въ своей совокупности, они представляютъ собою какъбы спираль, постепенное восхождение съ нисшихъ на высшія ступени, подъемъ на постоянно растущія міровыя высоты (котоыя являются въ тоже время и все болье углубляющимся солнечными глубинами). Такъ-то, вмъстъ съ этимъ постояннымъ возвышеніемъ — углубленіемъ, осуществляется — и вмѣстѣ съ тъмъ постоянно измъняется, возвышаясь — и дъйственный смыслъ каждаго, преломляющагося въ евангеліи, знака небесной звъздописи. Эти три круга спирали — и суть «три года» Христовой дъйственности, Христовыхъ свершеній, на землъ. Въ евангеліи отъ Марка нѣтъ упоминанія объ зтихъ «трехъ годахъ». Но мы можемъ вывести о нихъ заключеніе изъ текста евангелія отъ Іоанна, троекратно упоминающаго (въ разныхъ мъстахъ) о праздникъ іудейской Пасхи.

Какъ и евангеліе отъ Іоанна, евангеліе отъ Марка является Христовымъ по преимуществу, въ томъ смыслѣ, что оно начинается съ воплощенія (въ противоположность евангеліямъ отъ Матеея и отъ Луки). Въ воплощеніи и соприкоснулись вновь небо и земля, раздѣлившіяся отъ начала вѣковъ. И это соприкосновеніе происходитъ (по Бекку) какъ разъ подъ тѣмъ знакомъ, въ которомъ совершается, въ кругу Зодіака, переходъ отъ ночной части неба къ дневной, отъ небеснаго къ земному, а именно въ знакѣ Рыбъ. Этотъ знакъ и является, въ космическомъ ритмѣ евангелія отъ Марка, знакомъ Христа и Христова посвященія.

4.

Беккъ подробно разсматриваетъ все содержаніе евангелія отъ Марка (также и отъ Іоанна), съ точки зрѣнія звучащаго въ нихъ космическаго ритма. Я не могу здѣсь касаться помѣченныхъ имъ линій, а также и результатовъ его изслѣдованія, даже въ самыхъ общихъ чертахъ. Впрочемъ, нѣкоторое понятіе о тѣхъ и другихъ можетъ дать и краткое перечисленіе отдѣловъ, на ко-

торые распадается работа Бекка. Отдѣлы его книги объ евангеліи отъ Марка слѣдующіе.

Первый кругь солнечнаго ритма. Созвѣздія Козерога и Водолея въ ихъ отношеніи къ Іоанніу Крестителю. Солнечный знакъ Рыбъ: Крещеніе въ Іорданѣ и призваніе первыхъ учениковъ. Овенъ: вселеніе въ земныя силы, вступленіе Христа въ земную дѣйственность. Телецъ: откровеніе живой и врачующей силы божественнаго Слова. Близнецы: знакъ святой Горы. Знакъ Рака, въ смыслѣ знака нисхожденія (Марка, ІІІ, 20-35). Левъ, каъ эзотерическій знакъ солнца. Созвѣздіе Дѣвы (Марка IV, 1-34). Созвѣздіе Вѣсовъ (IV, 35—V, 20). Знаки смерти: Скорпіонъ и Стрѣлокъ.

Второй кругь. Переходъ во второй кругъ — въ знакахъ Козерога и Водолея: новая ступень Іоанновскаго жертвоприношенія (Марка, VI, 12-29). Насыщеніе пяти тысячъ — подъ знакомъ Рыбъ; переходъ къ Овну и Тельцу. Телецъ, какъ откровеніе мощи божественнаго слова (VII). Знаки Близнецовъ, Рака и Льва — во второмъ кругу. Насыщеніе четырехъ тысячъ. Созвъздія Дъвы и Въсовъ во второмъ кругу. Смертные знаки Скорпіона и Стръльца въ томъ-же кругу (VIII, 27-33, VIII, 34—

IX, 1).

Третій кругь. Переходь оть знака Стрѣльца въ третій кругь: Козерогь, Водолей, Рыбы: Преображеніе Христово на Горѣ. Переходь къ Овну (IX, 14-30). Знакъ Тельца въ треттьемъ кругу: переходъ Слова къ Іоанну (IX, 31—X,31). Близнецы въ третьемъ кругу: сыновья Заведеевы (X, 32-45). Знаки Рака и Льва: завершеніе Іоановскаго осуществленія (IX, 46-52; XI—XIII). Созвѣздіе Дѣвы: Тайная Вечеря. Вѣсы: Геосиманія. Завершеніе кризиса въ Скорпіонѣ: Іуда, Петръ, Пилатъ. Откровеніе смерти въ Стрѣльцѣ: Голгова. Козерогъ, Водолей, Рыбы: міровой поворотъ, Гробъ и Воскресеніе.

Отдѣльно стоятъ, но тѣсно примыкаютъ къ содержанію, которое мы только что обозрѣли, монографіи: о «трехъ крестахъ на Голгооѣ», о мистическихъ зодіакальныхъ крестахъ Отца, Сына и Духа, о треугольникахъ четырехъ евангелій въ зодіакаль-

номъ кругъ.

Въ этомъ же родъ разсматривается Беккомъ и содержаніе евангелія отъ Іоанна, тъсно связаннаго по внутренней своей природъ съ евангеліемъ отъ Марка и все же отличнаго отъ него. Отличны, по Бекку, и космическіе ритмы обоихъ зтихъ евангелій. Но я не имъю здъсь возможности касаться глубокихъ и довольно сложныхъ построеній автора, обнаруживающихъ зти различія. Весьма интересны его подробно развитыя мысли о «звъздной тайнъ» и космическихъ исходныхъ точкахъ Іоанновскаго благовъствованія, о духовномъ въ планетахъ, о «звъздной тайнъ» въчнаго имени, о книгъ жизни и книгъ судьбы. Въ даль-

нѣйшемъ Беккъ переходить отъ звѣздной тайны къ тайнѣ земли. Онъ показываетъ ритмическое строеніе евангелія отъ Іоанна въ цѣломъ рядѣ отдѣльныхъ его частей, напр., въ чудѣ Каны Галилейской, въ бесѣдѣ съ Никодимомъ и т. д. Слѣдующіе отдѣлы: кризисъ, воскрешеніе Лазаря, Тайная Вечеря, великая молитва, страсти и смерть, воскресеніе.

Русскому читателю особенно интересно было-бы ознакомиться съ отдъломъ книги, посвященнымъ чуду въ Канъ. Авторъ вводить въ кругъ своихъ построеній рядь образовъ Достоевскаго, а именно зпизодъ изъ «Братьевъ Карамазовыхъ», то мъсто, гдъ Алеша слушаетъ чтеніе евангелія надъ гробомъ новопреставленнаго старца Зосимы; потомъ онъ выходить въ садъ и плачеть счастливыми слезами, припадая къ землъ и къ пышнымъ осеннимъ цвътамъ. «Тайны земли прикасались къ звтьздамъ» — это подлинныя слова Достоевскаго. Да и весь эпизодъ изъ «Братьевъ Карамазовыхъ», о которомъ идетъ рѣчь, обвѣянъ звъздными тайнами, космическимъ ритмомъ. Чрезвычайно характерно и то, что глава, о которой идетъ рѣчь (заключительная глава седьмой книги), озаглавлена Достоевскимъ: «Кана Галилейская» (по мъсту изъ евангелія, читаемому надъ усопшимъ). Казалось-бы: при чемъ радостная «Кана Галилейская» - когда сцена происходить при гробъ мертвеца? Но воть: Достоевскій видимо чувствовалъ нѣкую «Кану Галилейскую» — когда писалъ эту сцену. Зналъ-ли онъ что дълалъ — когда назвалъ ея именемъ эту часть своего романа?

Я слишкомъ мало знакомъ съ исторіей созданія «Братьевъ Карамазовыхъ», да и вообще съ біографіей Достоевскаго, чтобы пытаться объяснять это странное совпаденіе образовъ русскаго романа и чувствъ, ими навъваемыхъ, съ образами и построеніями нъмецкаго зкзегета. Дъйствовалъ-ли Достоевскій, когда писалъ свою «Кану Галилейскую» подъ вліяніемъ нѣкоей геніальной интуиціи, или дъйствительно зналь кое-что о космическомъ ритмъ священнаго писанія, т. е. попалъ, въ своихъ скитаніяхъ и бесъдахъ съ духовными лицами на слъды нъкоей древней, но еще живой въ церковномъ преданіи, истины? Богъ въсть. Но ученый зкзегеть дъйствительно не могъ привести лучшей иллюстраціи къ своимъ многодумнымъ построеніямъ, чыть вышеуказанныя нысколько страницы русскаго писателя. Небо, живое небо Достоевскаго, на которое смотритъ Алеша, только что помолившись у гроба старца, есть дъйствительно то небо, лучезарный ритмъ котораго отыскиваетъ Беккъ на страницахъ своихъ многотомныхъ писаній.

5.

Чтобы дать образецъ этихъ писаній, намѣчу вкратцѣ, въ дополненіе къ вышеприведенному общему ихъ обозрѣнію, нѣ-

сколько линій, касающихся начальныхъ стиховъ евангелія отъ Марка.

Тайна его зашифрована (по Бекку) въ самомъ имени Іоанна, въ трехъ гласныхъ этого имени: І. О. А. Эта триграмма является варіантомъ другой: І. А. О. Послъдняя-же представляетъ, въ свою очередь, не что иное какъ вокализованную форму первоначально согласной (консонантной) формы I---H---V, откуда «Ягве» и «Ісгова», т. е. имена божественнаго. Вмъстъ съ тъма Беккъ сближаетъ Іоанна первыхъ стиховъ евангелія отъ Марка съ предполагаемымъ авторомъ этого евангелія, носившимъ, какъ извъстно имя Іоанна-Марка (при чемъ «Маркъ» было его cognomen'омъ). Вмѣстѣ съ тѣмъ Іоаннъ начальныхъ стиховъ является «ангеломъ» (I, 2) и какъ-бы осъненнымъ ветхозавътною силою Иліи (вообще ярко запечатлъвшагося въ евангеліи отъ Марка). Илія является уже и въ Ветхомъ Завѣтѣ великимъ подготовителемъ ко Христу. Креститель Іоаннъ, осъненный силою Иліи, есть послъдній и величайшій представитель до-христіанскаго посвященія. Онъ является въ моментъ великаго оборота временъ, въ моментъ явленія солнечной Тайны Христа — въ космическомъ ритмъ временъ и міровъ.

Сближаетъ Беккъ Іоанна начальныхъ стиховъ и съ тъмъ, кого любиль Господь. Въ евангеліи отъ Іоанна (ХІ, 5) слова эти отнесены къ Лазарю. Но они повторены въ томъ-же евангеліи (XIII, 23) — безъ упоминанія какого-либо имени, при чемъ древнее преданіе отнесло ихъ къ самому автору этого евангелія. Беккъ принимаетъ и это преданіе, изъ чего слъдуетъ, что онъ сближаетъ Іоанна начальныхъ стиховъ евангелія отъ Марка одновременно и съ Лазаремъ и съ авторомъ IV евангелія. Беккъ понимаетъ слова: ученикъ, котораго любилъ Іисусъ — въ смыслъ древнихъ мистерій. «Неизвъстный» — это тотъ, въ котораго перешла, съ рожденіемъ христіанства, сила Крестителя, сила Іоанна-Иліи... Авторъ не отрицаеть различія всъхъ упомянутыхъ выше личностей: Іоанна Крестителя, Іоанна-Марка (автора евангелія послъдняго имени), Лазаря и Іоанна — автора IV евангелія. Но онъ утверждаеть единство ихъ посвященія: Іоановскаго посвященія.

Авторъ сближаетъ съ этимъ посвященіемъ и изображенное у Луки (VII, 12-15) чудо воскрешенія (въ Наинѣ) «сына вдовы». Это выраженіе есть выраженіе языка мистерій (встрѣчающееся и въ Ветхомъ Завѣтѣ). Для Бекка образъ чуда въ Наинѣ есть образъ посвященія въ мистерію. Но такое-же мистическое свершеніе видить онъ и въ образѣ воскрешенія Лазаря. Въ тайнѣ этого воскрешенія завершается Іоанновское осуществленіе. Лазарь былъ. Воскрешенный же сталь Іоанномъ. И именно въ томъ смыслѣ, что его наполнило Іоанновское посвящене, Іоанновское существо... Эти тайны въ томъ и обнаружіваются,

что въ то время какъ въ евангеліи отъ Марка не упоминается имени Лазаря, въ евангеліи отъ Іоанна опущено имя Іоанна. Въ этомъ смыслѣ, оба евангелія представляютъ одно цѣлое. Авторъ подробно аргументируетъ это свое положеніе. Понять одно изъ этихъ евангелій безъ другого — невозможно.

6.

Вхожденіе солнца Христова въ земной міръ происходить подъ знакомъ Рыбъ, подъ знакомъ перехода отъ нижнихъ и темныхъ созвѣздій Зодіака къ верхнимъ и свѣтлымъ его созвѣздіямъ. Но появленію Христа въ этомъ знакѣ предшествуетъ, въ евангеліи отъ Марка, нѣкій прологъ, происходящій еще подъ знакомъ темныхъ созвѣздій, а именно Козерога и Водолея. Эти знаки и суть по преимуществу знаки Іоанновскаго посвященія. Такъ мотивъ гласа, вопіющаго въ пустынъ неразлученъ со знакомъ Козерога. Я указалъ уже выше, что данное созвѣздіе находится въ небесной области, которую традиція древнихъ мистерій называла «пустынею неба». Но и «дикій медъ», которымъ питается Іоаннъ въ пустынѣ, имѣетъ аналогіи въ этой традиціи.

Въ космическомъ строеніи человъческаго тъла знаку Козерога соотвътствують колъни и локти. Они — органъ своенравія, упорства, подчеркиванія своей личности. Но поэтому-то именно они и являются — склоняясь — органомъ измѣненія чувствъ и мыслей, органомъ покаянія. И какъ разъ къ покаянію, къ перемѣнѣ чувствъ (элдэололэн), призываеть гласъ вопіющаго въ пустынь — въ началь евангелія оть Марка. Этоть мотивь покаянія возвращается всегда и въ послѣдующихъ ступеняхъ евангелія — когда идеть рѣчь объ Іоанновскомъ посвященіи... Но къ мотиву покаянія присоединяется, какъ его завершеніе, и мотивъ крещенія водою: евангеліе въ своемъ поступательномъ движеніи переходить подъ знакъ Водолея. При всей чувственной реальности происшедшаго въ Іорданъ, оно все-же было и образомъ «зеирныхъ водъ» древняго преданія, погруженіе въ которыя, означая смерть прежняго человъка, осуществляло въ тоже время и его рожденіе въ новую жизнь. Намфченныя черты показываютъ, что вышеочерченное мистическое воспріятіе евангелія имъетъ и космическія соотвътствія, въ общемъ довольно точныя: оба воспріятія взаимно дополняють и подкрѣпляють другъ друга...

Евангеліе переходить въ солнечный знакъ Рыбъ. Его присутствіе проявляется многообразно, въ частности, и въ словахъ Іоанна о «сильнѣйшемъ», у котораго онъ недостоинъ развязать ремень обуви. Онъ недостоинъ склоняться къ ногамъ Христа. Но ноги и являются, съ космической точки эрѣнія, какъ уже было указано выше (гл. 2), тѣлесно-человѣческимъ соотвѣтствіемъ знака Рыбъ. Такъ и всѣ мѣста евангелія, гдѣ говорится объ омовеніи ногъ, находятся подъ знакомъ Рыбъ. Стоящими подъ этимъ знакомъ ногами — человѣкъ ступаетъ по землѣ. Но на нее вступилъ, въ человѣческомъ воплощеніи, и Богъ-Христосъ. Именно онъ оказался достаточно сильнымъ для полнаго очеловѣченія. И именно подъ знакомъ Рыбъ, въ которомъ сходится темное со свѣтлымъ, небесное съ земнымъ, и должны были встрѣтиться — человѣкъ Іоаннъ, обращенный всѣмъ своимъ существомъ къ небесному, и Божій Христосъ, стремящійся къ землѣ.

Значеніе и дъйственный смыслъ того или иного знака Зодіака дополняется и поясняется значеніемъ противоположнаго ему знака. Противоположнымъ знаку Рыбъ является знакъ Льва, невидимо осъняющій начало евангелія отъ Марка. «Я крестиль вась водою, а Онь будеть крестить вась Духомъ Святымъ» — говорится въ 8 стихъ. «Духомъ Святымъ и огнемъ» добавляють въ соотвътствующемъ мъстъ Матеей и Лука. Слово о крещеніи духомъ и огнемъ и возносить насъ къ знаку Льва. Этотъ космическій Левъ считался, въ древнемъ преданіи, «домомъ», т. е. эзотерическимъ знакомъ, Солнца. Въ огненномъ знакъ Льва вода Іоаннова крещенія претворяется въ кровь, или, примъняясь къ II главъ отъ Іоанна (бракъ въ Канъ), въ вино. И отсюда уже видно, что извъстные космическіе знаки, осъняющіе отдъльныя мъста евангелія, вызывають — какъ-бы автоматически — и извъстные, имъ соотвътствующіе, стереотипные выраженія и обороты...

7.

Въ общемъ, по прочтеніи толкованія Бекка на начальные стихи Марка, только что мною крайне сжато и тускло изложеннаго (вся яркость этого толкованія — въ подробностяхъ, которыя мнѣ неизбѣжно приходилось опускать), никакъ не скажещь: что и требовалось доказать. И это замѣчаніе можно отнести и ко всей работѣ Бекка, съ тою однако-же разницей, что смутное, темное, сомнительное, спорное, а порою и прямо недостовѣрное въ частностяхъ — объединяется постепенно, при чтеніи его книгъ въ нѣкую общую, болѣе ясную и болѣе достовѣрную, картину. Картина эта необыкновенно величава. И какъ разъ въ этомъ ея божественномъ величіи и заключена убѣждающая сила многихъ ея частей.

Беккъ, какъ и вообще все представляемое имъ направленіе, не стремится доказать во что бы то ни стало всѣ свои положенія. Онъ не стремится утвердить догматически свои построенія. Онъ утверждаетъ лишь одно: что евангелія можно постичь — лишь отдавшись дѣйствію всей совокупности ихъ линій и взаимной связи между ними. Но чтобы дѣйствіе это дѣйствительно

могло имѣть мѣсто, необходимъ путь долгаго и вдумчиваго расшифрованія ихъ тайнописи, вчувствованія въ нее, вчувствованія, которое, конечно, прежде всего предполагаетъ нѣкое созвучіе съ тѣмъ міромъ, въ которомъ евангелія родились. Путь Бекка есть путь внутренняго воспріятія, а отнюдь не внѣшнихъ, «формальныхъ», доказательствъ.

Въ связи съ только что изложеннымъ можно отмътить и слъдующее. Путь ритмическаго вчувствованія въ евангелія — оно уже есть въ тоже время вчувствованіе въ ихъ космическій ритмъ — есть уже самъ по себъ религіозное дъланіе; этотъ путь есть уже самъ по себъ религіозный путь. Онъ есть даже, въ нъкоторомъ родъ, религіозный культъ. Но, съ другой стороны, и самъ религіозный культъ, богослуженіе, является въ этомъ-же смыслъ, уже богопознаніемъ, въ частности, и познаніемъ евангелій. Ибо въ этомъ культъ воспринимаются именно они, ихъ, въ значительной степени, сокровенное существо... Намъченныя только что линіи рождаютъ цълый рядъ проэкцій. Онъ обнаруживають, въ частности, что постичь евангелія можетъ только религіозный человъкъ.

У Бекка есть несомнѣнныя ошибки; обнаруживаются въ его работѣ и нѣкоторыя противорѣчія. Мѣстами онъ самъ, можетъ быть, излишне поддается той «астральной минологіи», съ которою столь успѣшно борется въ другихъ мѣстахъ. Но въ краткомъ очеркѣ нѣтъ ни смысла, ни возможности приводить эти ошибки и противорѣчія. Ибо интересны не они, а само то направленіе, которое нашъ авторъ столь блестяще представляетъ. Оно уже теперь, на зарѣ своего выявленія, представляетъ большую творческую силу. Очень многія псевдо-научныя линіи, намѣченныя представителями «свободной исторической критики», станутъ невозможными послѣ книгъ Бекка. Впрочемъ, направленіе «духовнаго познанія» уже и ранѣе оказывало сильное воздѣйствіе на свободную критику. Возможно, что данное направленіе окажетъ вліяніе и на пути церковнаго богословія.

Какъ-бы ни были велики отдъльныя ошибки и блужданія представителей новаго направленія, оно дъйствительно несетъ нъчто новое. Несомнънно, дъло идетъ пока лишь о нъкоторомъ приближеніи, лишь о подготовительныхъ путяхъ къ разгадкъ евангельскихъ тайнъ. Ясно одно: то, что эти тайны не вполнъ еще нами разгаданы. Это то и есть то новое, что намъ несетъ данное направленіе. Вдобавокъ, въ немъ слышатся отзвуки древнъйшихъ традицій христіанства, его стародавней старины. Такъ и поиски космическаго ритма евангелій открываютъ именно въ раннемъ христіанствъ такія космическія глубины, такія глубины мысли и жизни, которыя, еще очень недавно, и не снились нашимъ мудрецамъ.

Александръ Салтыковъ.

новыя книги

АНРИ БЕРГСОНЪ

(«Les deux sources de la morale et de la religion»).

Давно объщанная и съ нетерпъніемъ ожидаемая этика А. Бергсона, наконецъ, вышла въ свътъ. Книга называется «Два источника морали и религіи». Авторъ полагаетъ, что она многихъ удивитъ и разочаруетъ, онъ не ошибается. Для тъхъ, кто имъетъ лишь поверхностное представление о бергсонизмъ, завершение его можетъ показаться неожиданнымъ. Матеріалистовъ «мистика» Бергсона разсердить; върующихъ она не несомифино — эмпирикъ удовлетворитъ. Одно пришелъ къ своей метафизикъ вполнъ закономърно, путемъ «опыта и наблюденія». Въ «Непосредственныхъ данныхъ сознанія» и въ «Творческой эволюціи» путь этотъ былъ уже предначертанъ. Развъ объяснение явлений жизни съ помощью «жизненнаго порыва» (élan vital) не было вторженіемъ въры въ область чистаго знанія.

Чтобы представить себъ ясно значеніе новой книги Бергсона, припомнимъ выводы, къ которымъ онъ пришелъ въ «Творческой зволюціи». Вотъ краткое и по необходимости упрощенное изложеніе его теоріи. Въ міръ грубой и инертной матэріи врывается мощнымъ потокомъ какая-то таинственная знергія. Назовемъ ее условно «жизненнымъ порывомъ». Какова ея природа? Опытъ и наблюденіе убъждаютъ насъ въ томъ, что «жизненный порывъ» родствененъ нашему сознанію, что онъ сила сознательная. Вторгшись въ царство матеріи, «порывъ» долженъ былъ проложить себъ путь среди безчисленныхъ препятствій; онъ останавливался, ломался, сворачивалъ въ сторону, искалъ новыя русла; наконецъ ему пришлось раздълиться на двъ линіи зволюціи: одна изъ нихъ завершилась созданіемъ инстинкта, другая возникновеніемъ разума; «жизненный порывъ»

достигъ самосознанія въ двухъ различныхъ планахъ: съ одной стороны — улей и муравейникъ, то есть самосознаніе черезъ инстинктъ, съ другой — человъческое общество, то есть самосознаніе черезъ разумъ. «Жизненный порывъ» дальше муравейника и человъческаго общества не пошелъ; онъ встрътилъ непреодолимую силу сопротивленія и его устремленность впередъбыла сломлена. Движеніе по прямой превратилось во вращеніе по кругу. Муравейникъ и человъческое общество — два замкнутыхъ міра, двъ остановки, двъ косныя нормы. Инстинктъ муравья и разумъ человъка стоятъ, какъ недостроенныя башни на двухъ дорогахъ эволюціи. Жизненный порывъ въ какомъ-то смыслъ потерпълъ пораженіе: ни слъпой, автоматическій инстинктъ пчелы, ни практическій ограниченный разумъ человъка не осуществили подлинннаго познанія — познанія интуитивнаго.

Въ «Творческой эволюціи» многое оставалось неяснымъ: природа жизненнаго порыва, причина и цѣль его стремленія, смыслъ сопротивлнія матеріи и, наконецъ, значеніе интуиціи. Въ новой книгѣ А. Бергсонъ раскрываетъ до конца свою мысль. Многія условныя и туманныя наименованія получаютъ болѣе опредѣленное значеніе, напримѣръ, интуиція, жизненный порывъ, природа; но все же геніальному автору не удается преодолѣть основныхъ противорѣчій, связанныхъ съ самимъ происхожденіемъ его системы. Анри Бергсонъ—біологически оріентированный философъ; книга его «Творческая эволюція» возникла изъ критики эволюціи видовъ Дарвина. Бергсонъ разбилъ Дарвина его же оружіемъ. «Въ моей творческой эволюціи, —пишетъ онъ, — нѣтъ ни одного положенія, котораго нельзя было бы провѣрить данными біологіи».

Въ «Двухъ источникахъ морали и религіи» передъ нами парадоксальное заданіе: построеніе метафизики на основаніи эксперимента, — морали и религіи съ помощью научнаго біологическаго метода.

На помощь автору приходить «дихотомія», т. е. «различеніе двухь источниковъ». Міръ въ основъ своей двойственъ: жизненный порывъ и «природа». Мы уже знаемъ, что «порывъ» былъ остановленъ матеріей; матерію, подчинившуюся порыву, но извратившую его, Бергсонъ называетъ природой. Сложный порядокъ, въ которомъ вражда дъйствія и противодъйствія, борьба творческаго движенія и косности достигаютъ шаткаго разновъсія — таковъ міръ природный. Авторъ приходитъ къ извъстному теологическому различенію между міромъ закона (природа) и міромъ благодати (творческій духъ). Но при его «экспериментальномъ» методъ рожденіе этихъ двухъ міровъ, становленіе грубой матеріи и деградація духа (elan vital), остаются непо-

стижимыми. Бергсоновская метафизика объясняетъ только міръ природы, законы котораго прямо противоположны законамъ жизненнаго порыва. Какъ возникъ этотъ раздоръ, отчего міръ, созданный божественнымъ духомъ, управляется законами жельзной необходимости — на это біологія отвъта не даетъ. Первая часть книги посвящена «міру природы». И здъсь съ больщимъ блескомъ проводится различеніе между моралью замкнутаго общества и моралью человъчества.

Въ чемъ же состояла неудача жизненнаго порыва на пути, приведшемъ къ появленію человѣка? Порывъ изсякъ въ матеріи прежде, чѣмъ успѣлъ создать свободную интуитивную личность: онъ уперся въ стѣнку «замкнутаго общества», соціальнаго инстинкта, рода. Судя по направленію его, мы можемъ предполагать, что «замкнутое общество» было лишь этапомъ въ его движеніи, но станція превратилась въ конечный пунктъ. Большая дорога, которая вела къ свободъ и творческой интуиціи, была преграждена. Признать міръ природы окончательнымъ и непоправимымъ — было бы равносильно утвержденію, что мірозданіе не удалось. Бергсонъ — оптимисть. Онъ убъжденъ, что не въра одна, но и знаніе свидътельствують о томъ, что elan vital не изсякъ, что онъ дъйствуетъ по прежнему, хотя и иными путями. Выражая упрощенно разсужденія автора, можно преставить себъ потокъ міровой энергіи раздълившимся на множество мелкихъ ручейковъ и струй: они обтекають съ боковъ плотину, перегородившую главное русло. Плотина — «человъческій родъ», живущій въ замкнутомъ обществъ, заботящійся прежде всего о самосохраненіи и размноженіи, выработавшій особенную мораль и религію и жертвующій личностью на пользу коллектива. Отдъльные ручейки — это избранныя человъческія личности, геніи, святые, которые въ личномъ опытѣ переживаютъ «жизненный порывъ» и обладаютъ подлиннымъ знаніемъ міра, то есть интуиціей.

Вотъ почему при изученіи происхожденія морали и религіи необходимо различать «замкнутое» (clos) и открытое (ouvert). Природа предназначила человѣка для жизни въ небольшихъ «замкнутыхъ» группахъ: племена дикарей, кланы старой Шотландіи, городскія общины древней Греціи, феодальныя княжества — вотъ образцы человѣческаго общежитія. Мораль такихъ группъ сводится къ любви къ родичамъ и ненависти къ сосѣдямъ; величайшей ощибкой философіи и соціологіи было смѣшеніе морали соціальной съ моралью человѣческой. Изъ понятія рода нельзя вывести понятія человѣчества: разница между ними не количественная, а качественная. Человѣкъ природный создаетъ «статическую религію», отвѣчающую біологическимъ потребностямъ замкнутой группы; никакого пере-

хода отъ религіи статической къ религіи динамической не можетъ. «Всъ люди — братья», «человъчество есть одна семья», «нужно любить равно и своихъ и чужихъ» — эти положенія динамической религіи рѣзко противорѣчатъ соціальному инстинкту. Бергсонъ съ необычайной остротой наоблюденія излагаетъ исторію образованія статической морали и религіи. Віологія и соціологія позволяють ему дълать остроумные выводы и блестящія сопоставленія; воображеніе, создающее суевърія и фантастическіе образы, порождающее духовъ и боговъ, разсматривается имъ какъ функція соціальная. надъляетъ человъка фантазіей, чтобы предохранить общество оть разлагающаго, анархическаго дъйствія разума. fabulatrice» обезвреживаетъ выводы разума: ощущенію безпомощности человъка передъ лицомъ равнодушнаго или враждебнаго космоса она противоставляетъ въру въ «человъчность» природы (анимизмъ и антропоморфизмъ): знаніе разума о смерти она преодолъваетъ върой души въ безсмертіе. Бергсонъ заключаетъ эту часть своего труда слѣдующей формулой: «статическая или ествественная религія есть оборонительная реакція природы противъ дъятельности разума въ той ея части, которая могла бы имъть угнетающее вліяніе на индивида и разлагающее вліяніе на общество». Автору удается свести всю систему естественной морали и религіи къ соціальному инстинкту замкнутаго общества. Слъдующая глава посвящена религіи динамической. На чемъ будетъ Бергсонъ ее строить, посль того какъ онъ съ такой убъдительностью доказалъ, что отъ статики къ динамикъ, отъ «замкнутаго» къ «открытому», отъ инстинкта и разума къ интуиціи нътъ никакого пути? Вступая въ новую область, онъ долженъ перестать пользоваться понятіемъ природы, долженъ отказаться отъ поддержки біологіи и соціологіи, другими словами — измѣнить и матеріалъ, и методъ и даже словесную форму.

Это перерожденіе равнялось бы чуду, если бы Бергсонъ призналь въ царствъ динамической религіи полное безсиліе разума и эксперимента. Навыки всей его жизни возстають противъ такого «обращенія». Онъ удовлетворяется компромиссомъ: вмъсто біологическаго опыта ставится опыть мистическій, вмъсто научнаго наблюденія надъ обществомъ — наблюденіе надъ личностью. И результаты строго провъряются разумомъ. Такимъ образомъ, вся внъшность научной респектабельности соблюдена, но что подъ ней таится?

Геніальное различеніе въ религіи статики и динамики вносить ослѣпительный свѣтъ въ ту область, которая продолжаеть и до нашихъ дней скрываться въ мистическомъ туманъ. Резюмируемъ ходъ мысли философа: «elan vital» разбился о

«замкнутое общество»; его движеніе застыло въ безсмысленномъ вращеніи по кругу. Въ мірѣ необходимости его замѣнила природа со своими желѣзными законами. Гдѣ же искать жизненный порывъ? Погибнуть онъ не могъ, ибо онъ — сама жизнь. И авторъ заключаетъ: на большой дорогѣ эволюціи вы его не найдете: — онъ пошелъ по окольнымъ путямъ, по тропиночкамъ.

«Elan vital» продолжаетъ творчески жить въ интуиціи человъческой души. Эта интуиція свойственна каждому, но она становится сознательной и дъйственной лишь въ немногихъ, избранныхъ душахъ; природу «жизненнаго порыва» мы можемъ изучить въ мистическомъ опытъ святыхъ. Они, проникая къ истокамъ истинной жизни, взрываютъ косныя формы общества, творятъ новыя цънности, создаютъ другую мораль и религію. Только черезъ великихъ святыхъ — героевъ и вождей человъчества — и продолжается «творческая эволюція». Поэтому ученый, изучающій законы, обязанъ обратиться къ мистическому опыту, какъ къ единственному достовтърному свидътельству о природъ жизни».

Все громадное значеніе книгъ Бергсона — въ этой оригинальной и неожиданной постановкѣ проблемъ. Впервые за все существованіе точныхъ наукъ ученый естествоиспытатель заявляетъ, что мистическій опытъ есть не субъективное фантазированіе, не болѣзненная экзальтація, не аскетическое умерщвленіе чувствъ, а единственный подлинный путь къ самому истоку эксизни.

Сравнивая опыты разныхъ святыхъ, напримъръ, апостола Павла, святой Терезы, святой Екатерины Сіенской — Бергсонъ отмъчаетъ, что содержаніе ихъ въ главномъ совпадаетъ. «Жизненный порывъ», взметающій и уносящій души святыхъ, воспринимается ими какъ любовь. Динамическая религія — это порывъ любви, который соединяетъ замкнутыя общества въ одну семью — человъчество. Египетъ, Востокъ, Греція — смутно предчувствовали свътъ, который возсіялъ міру черезъ Христа. Мистическій опытъ не знаетъ ни догматовъ, ни ритуала: въ немъ дано состояніе души — эмоція. Поэтому, полагаетъ Бергсонъ, религія не есть ни мысль, ни дъйствія: они рождаются изъ нея впослъдствіи, когда ея пламенный порывъ воплощается въ актъ и осознается, какъ Любовь.

Авторъ такъ боится «метафизики», что несправедливо суживаетъ объемъ мистическаго опыта. Онъ вопреки очевидности говоритъ объ одной «Эмоціи», тогда какъ мистическій опытъ есть прежде всего познаніе Истины. Но Бергсону — эмпирику не приличествуетъ размышлять объ откровеніи. Онъ и о Христъ говоритъ вскользъ и крайне двусмысленно. И все же утвержденія знаменитаго философа необычайно ръшительны. Намеки, дан-

ные въ «Творческой эволюціи» — раскрыты полностью. Elan vital — есть Богъ, переживаемый душой, какъ Существо Любящее и Любимое; интуиція есть нѣкій особый органъ души, данный человѣку для Богопознанія. Съ этой точки зрѣнія многія неясности и противорѣчія бергсонизма становятся объяснимыми. Вся сложная исторія возникновенія жизни въ мірѣ, образованіе живыхъ сущетствъ, развитіе видовъ, возникновенія человѣческаго рода, борьба инстинкта съ разумомъ и общества съ индивидомъ пріобрѣтаютъ смыслъ и цѣль. Божественная сила — Elan vital — Любовь — преодолѣвая безчисленныя препятствія, медленно, но неуклонно вела мірозданіе къ его верховной цѣли: созданію Человѣка. Милліоны лѣтъ понадобились для того, чтобы на землѣ появилось «существо сознательное, способное любить и достойное любви». Старая метафизика была права: человѣкъ есть смыслъ міра.

Книга «Два источника морали и религіи» завершаетъ интуитивную философію, трудъ всей жизни философа. Значеніе ея не только философское, но и общечеловъческое и жизненное.

К. Мочульскій.

А. В. Карташовъ. На путяхъ къ вселенскому собору. 140 стр. YMCA Press. Парижъ 1932.

Въ настоящее время, слово «кризисъ» настолько часто повторяется, что оно утратило свое истинное содержание. Все же о церковной жизни нашего времени приходится сказать, что она находится на переломъ. Мы живемъ въ переходное время: старая жизнь какъ-то ускользаеть отъ насъ, а новая рисуется неясно и, надо сознаться, тревожно. Однимъ изъ признаковъ нарождающагося будущаго является попытка созыва новаго вселенскаго собора. По опыту ранъе бывшихъ соборовъ мы знаемъ, что объявление вселенскаго собора вызывало чувство крайней напряженности и тревоги въ церковныхъ кругахъ. Никто не зналъ, чъмъ и какъ обернется соборъ. При всей опредъленности задачь, которыя ставились собору, онь тымь не меные оставался нѣкоторымъ «скачкомъ въ неизвѣстность». Тревога переживалась всемъ церковнымъ организмомъ, а вместе съ темъ и каждый члень Церкви чувствоваль, что отвътственность за соборъ ложится и на него. За долгій періодъ отсутствія вселенской соборной дъятельности, мы настолько отвыкли отъ соборовъ, что созывъ новаго вселенскаго собора уже не вызываетъ этой тревоги. Мы въ лучшемъ случаъ готовы разсматривать себя, какъ учителей, а не какъ участниковъ собора — не догматическихъ, конечно, но моральныхъ. Мы не всегда отдаемъ себъ отчетъ въ

томъ, какія трудности предстоитъ преодольть прежде, чьмъ вселенскій соборъ изъ области благихъ намъреній станетъ реальнымъ фактомъ нашей церковной жизни. Эту задачу взялъ на себя А. В. Карташовъ въ своей новой книгъ «На путяхъ къ вселенскому собору». Она содержить 3 очерка, посвященныхъ будущему собору: «Вселенскій или всеправославный?» «Безъ русской церкви» и «Вселенскіе соборы и соборность», и одну большую статью о первомъ Ефесскомъ соборъ 431 г. по поводу недавно исполнившагося его 1500-лътія. То, что происходитъ сейчасъ, и то, что было 1500 лѣтъ тому назадъ, необычайно удачно сближается и сопоставляется авторомъ, а потому такое соединение только съ перваго взгляда можетъ показаться механическимъ; въ дъйствительности весь сборникъ внутренне объединенъ. «Время антіохійствуетъ», утверждаетъ А. В. Карташовъ. Нужно прибавить, что въ то же самое время оно и «александрійствуетъ». Это означаетъ, что мы вновь въ области тъхъ богословскихъ проблемъ, которыя волновали церковныхъ дъятелей V-го въка. Если это такъ, то не долженъ ли I-ый Ефесскій соборъ быть для насъ грознымъ предостереженіемъ, чтобы новый соборъ не повторилъ печальную картину прошлаго. Можно дъйствительно опасаться, что «новый Кириллъ снова собирается поторопиться открыть соборъ, не выждавъ 4 дней до подъъзда Іоанна Антіохійскаго».

Нельзя не согласиться съ авторомъ въ его основномъ отношеніи къ будущему вселенскому собору: намъреніе собрать вселенскій соборъ является положительнымъ фактомъ и само по себъ свидътельствуетъ о возрожденіи соборности въ церкви, но поспъшный его созывъ въ настоящее время вселяетъ тревогу и ставитъ вопросъ о томъ, будетъ ли соборъ «во благовременіе». Вселенскій соборъ нельзя разсматривать, какъ учрежденіе, которое въ силу разныхъ причинъ прекратило свою дѣятельность и можеть быть вновь вызвано къ жизни. Вселенскій соборъ есть высшее выражение соборности въ церкви, слъдовательно онъ предполагаетъ наличіе соборной дізтельности помъстныхъ церквей. Между тъмъ эта послъдняя весьма слабо развита въ православной церкви. При такихъ обстоятельствахъ, по правильному замѣчанію А. В. Карташова, «вселенскій соборъ безъ опоры на помъстную соборность повисъ бы въ воздухъ, какъ вершина прирамиды безъ основанія». Автору кажется, что прежде чъмъ приступить къ вселенскому собору, необходимъ созывъ «всеправославнаго собора». «Намъ нуженъ прежде всего и раньще всего Всеправославный соборъ». Безъ него намъ стыдно и прямо невозможно сунуться во вселенское плаваніе». Вотъ это различеніе «вселенскаго собора» и «всеправославнаго собора» въ настоящихъ условіяхъ кажется нѣсколько

искусственнымъ. Самъ авторъ не указываетъ, въ чемъ заключается это различіе. Въ нынфшнихъ условіяхъ, при раздфленіи церквей, всякій соборъ, созванный православной церковью, какъ вселенскій, будетъ, однако, только всеправославнымъ, т. е. соборомъ всъхъ православныхъ церквей. Конечно, и при отсутствіи всъхъ формальныхъ признаковъ, такой впослъдствіи можеть оказаться вселенскимь, такь же, какь и любой соборъ помъстной церкви, но это происходить въ совершенно иномъ порядкъ, а именно въ порядкъ рецепціи церковью соборныхъ постановленій.. Ссылка автора на практику католической церкви, которая свои соборы продолжаеть именовать concilia universalia, не вполнъ убъдительно. Какое-то внутреннее чувство подсказываетъ намъ, православнымъ, что надо отказаться отъ вступленія на этотъ путь. Въ концѣ концовъ, дъло совсъмъ не въ названіи, которое дастъ себъ сборъ, и только будущее «принятіе» («рецепція») постановленій собора всей православной церковью определить его место.

Къмъ долженъ быть созванъ соборъ, кто опредълитъ его составъ и къмъ будетъ выработана его программа? Мы не можемъ оглядываться всегда на практику древнихъ вселенскихъ соборовъ, такъ какъ мы живемъ въ совершенно иныхъ историческихъ условіяхъ. Что было раньше, то въ настоящее время неповторимо, и намъ надо вырабатывать новую практику примънительно къ новымъ условіямъ жизни. Авторъ склоняется къ мысли, что слъдуетъ предоставить особое положение и особыя полномочія среди православныхъ іерарховъ константинопольскому патріарху. Возможно, что это было бы наиболѣе легкимъ выходомъ, но практически онъ какъ разъ наименъе осуществимъ: врядъ ли на это пойдутъ въ настоящихъ условіяхъ помъстныя церкви. Кажется, что правильнъе тотъ путь, на который вступилъ самъ константинопольскій патріархъ: предварительныя совъщанія главъ отдъльныхъ помъстныхъ церквей. На этихъ совъщаніяхъ про синодахъ главные іерархи должны уже сами прійти къ соглашенію, кому изъ нихъ будетъ поручено созвать соборъ и выработать программу. Возможно, что созывъ собора будетъ порученъ константинопольскому патріарху, но не исключена возможность, что такое совъщание облечетъ этимъ правомъ какое-нибудь другое лицо или изберетъ спеціальный органъ.

Древніе вселенскіе соборы были главнымъ образомъ епископскими. Только на 7-мъ вселенскомъ соборѣ получили окончательно право представительства монахи. Если не считать участія императорской власти (а оно происходило въ иномъ совершенно порядкѣ), то нужно признать, что міряне на соборахъ не были представлены. Каковъ же долженъ быть составъ буду-

щаго вселенскаго собора и особенно, какова должна быть роль мірянь на соборѣ. Ссылаясь на рядь фактовъ церковной исторіи и на примъръ московскаго собора 1917-1918 г., авторъ приходить къ заключенію, что мірянамъ должно быть отведено соотвътствующее мъсто на соборъ. Можно ли согласиться съ этимъ заключеніемъ? Мнъ кажется, что необходимо различать временное ръшение вопроса объ участии мірянъ отъ чисто принципіальнаго. Двойное представительство на соборъ знаменуетъ разъединеніе церковнаго общества, въ которомъ появляются разныя группы съ разными интересами. Такая дифференціація есть довольно поздній фактъ церковной исторіи. Впервые она намъчается только въ Константиновскую эпоху. Въ свътъ ученія о церкви и объ епископатъ, какъ представителъ церковныхъ общинъ, это отдъленіе мірянъ и клира не можетъ разсматриваться иначе, какъ нарушение мистическаго единства всъхъ во Христъ. Естественнымъ представителемъ общины является епископъ. Одновременное представительство отъ разныхъ группъ церковной общины указывало бы, что епископъ пересталъ выявлять всъ интересы и желанія своей церкви. Изъ этого принципіальнаго рѣшенія, конечно, не слѣдуеть еще, что будущій соборъ долженъ имъть чисто епископальный характеръ. Такой соборъ не сможетъ преодолъть то разъединение, которое произощло въ церковномъ обществъ, а скоръе еще усилить его. Современныя условія церковной жизни требують временнаго отказа отъ принципіальнаго рішенія. Не слідуеть только временное ръшение возводить въ принципъ.

А. В. Карташовъ посвятилъ въ своей книгъ цѣнный очеркъ вопросу объ участіи русской церкви въ будущемъ соборѣ подъ названіемъ «Безъ русской церкви». Можетъ ли новый вселенскій соборъ послѣ болѣе чѣмъ 1000-лѣтняго перерыва вновь собраться, какъ разъ въ то время, когда русская церковь не можетъ имѣть нормальнаго представительства. Если время дѣйствительно «не терпитъ», то какъ и кѣмъ она будетъ представлена? Читатель найдетъ отвѣты на всѣ эти вопросы въ указанной статъѣ А. В. Карташова. Здѣсь я имѣю возможность привести только заключеніе автора: «Итакъ, summa summarum нашихъ разсужденій по данному вопросу сводится къ тому, что нормальное представительство русской церкви и на предсоборіи и на соборѣ исключено... Вся же русская церковь въ цѣломъ должна остаться не связанной постановленіями собора до дней ея освобожденія и свободнаго волеизъявленія».

Таковы трудности, которыя стоять на пути къ вселенскому собору. Какъ онъ будуть преодольны, покажеть будущее. Во всякомъ случаь это преодольные требуеть общаго усилія всьхъ сыновь церкви, иначе оно не будеть дъйствительнымъ. Русская

богословская мысль, уже начала выполнять свой долгь: такимъ первымъ ея усиліемъ является талантливая книга А. В. Карташова. Ея цѣнность не исчерпывается только научными достоинствами, она кромѣ того способна пробудить въ церковныхъ кругахъ интересъ ко всѣмъ вопросамъ, связаннымъ съ созывомъ вселенскаго собора, а вмѣстѣ съ тѣмъ и волю къ ихъ рѣшенію.

Н.Н. Афанасьевъ

Imp. de Navarre, 5, rue des Gobelins, Paris.



ПРОВЛЕМАТИКА ХРИСТІАНСКАГО ВОЗСОЕДИНЕНІЯ*)

«тогда аще кто речеть вамь: се здъ Христось, или ондъ: не имите втъры». — Мө. XXIV. 23.

1. Церковь едина. И это единство есть самое бытіе Церкви. Церковь есть единство, единство во Христъ, «единеніе Духа въ союзъ мира» (Еф. IУ. 3). Церковь создана и созидается въ міръ именно ради единства и соединенія, — «да вси едино будутъ» (Io. XVII. 21). Церковь есть единое «тъло», т. е. организмъ, и Тъло Христово. «Ибо единъмъ Духомъ мы вси во едино тѣло крестихомся» (1 Кор. XII. 13). И только въ Церкви и возможно или осуществимо это подлинное и дъйствительное единеніе и единство, въ таинствъ любви Христовой, въ преображающей силъ Духа, по образу и подобію Троицы Единосущной... Такъ есть и такъ должно быть. Но это единство не явлено и не раскрыто въ исторіи Христіанской. И въ Христіанской исторіи единство остается только неразрѣшенной задачей, и разръшение ея все передвигается и отодвигается вдаль и впередъ, къ послъднему эсхатологическому предълу. Въ христіанской эмпиріи нътъ единства. Христіанскій міръ пребываеть въ раздъленіи, — и не только въ раздъленіи, но и въ раздоръ, и въ смутъ, и въ борьбъ. Въ Христіанской исторіи мы видимъ не больше единства и согласія, чѣмъ въ исторіи внѣшней, не-христіанской. Въ христіанскихъ обществахъ не только не сняты и не изжиты тъ раздъленія, которыя разлагають и разрушають

^{*)} Давая мѣсто интересной статьѣ свящ. Г. Флоровскаго редакція «Пути» считаетъ нужнымъ оговорить, что не считаетъ его точку зрѣнія на христіанское возсоединеніе единственной и допускаеть другія точки зрѣнія.

Редакція.

«естественный» порядокъ жизни, — въдь не примирены и не по-гашены и здъсь расовые или національные антагонизмы (срв. т. наз. «филетизмъ»). Мало того, въ самомъ ученіи Христіанскомъ, въ самой въръ Христовой оказываются поводы и темы для взаимнаго отчужденія, для разлученія и непріязни, для непримиримыхъ споровъ, для прямой вражды. Христіанскій міръ раздъляется не только о мірскомъ, но и о самомъ Христъ... Нѣтъ между христіанами, върующими во имя Его, согласія о Немъ, о Его дълахъ и о Его дълъ. Это камень преткновенія и соблазна... Церковь едина и неодолима въ своемъ единствъ. Но Христіанскій міръ раздѣленъ и расколотъ. Христосъ «тойже и во въки» (Евр. ХІІІ. 8). Но христіане расходятся о Немъ, и не только мыслять, но и върують по-разному. И въ разномъ полагають свою надежду и упованія... Да, Церковь не раздъляется, не раздълялась, не раздълилась. Церковь не раздълена и нераздъльна. И самое слово «Церковь» въ строгомъ и точномъ словоупотребленіи не имѣетъ и не допускаетъ множественнаго числа, — развѣ въ переносномъ и не-собственномъ смыслѣ... И, однако, вѣдь Христіанскій міръ весь въ раздорѣ и въ разрывѣ, — не приходится ли даже сказать прямо: въ распадъ... Пусть случившееся не было ни раздъленіемъ Церкви, ни «раздъленіємъ церквей». Пусть точнье говорить не о раз-дъленіяхъ въ Церкви, но объ от-дъленіяхъ отъ Церкви. Но въдь самый фактъ раздора и раскола остается... И Церковь не останавливаетъ этого раскола и раздробленія. Центробъжныя силы преобладають не только во внъшнемъ міръ, но вторгаются и во внутрь самой Церкви. Церковь въ скорби и въ гоненіи. И гонима не только отъ враговъ и сопротивниковъ, но не ръже и отъ яже-братій. «Но пріидетъ часъ, да всякъ, иже убіеть вы, возмнится службу приносити Богу» (Io. XVI. 2).. Вотъ въ этомъ основной парадоксъ Христіанской исторіи. И бывають эпохи, когда съ обновленной остротой испытывается и переживается вся горечь и вся боль этого парадоксальнаго раскола и распада. Изумъваетъ умъ объ этой тайнъ человъческаго противленія и упорства. Какъ это возможно, и что это значитъ... «О, чудесе, что сіе еже о насъ бысть таинство. Како предахомся тлѣнію, како сопрягохомся смерти»... Кажется, мы вступаємъ и уже вступили въ такую эпоху. И вспыхиваетъ потребность въ примиреніи и единствъ. Рождается и кръпнетъ воля къ единству. Тема Христіанскаго единства и единенія становится темой эпохи, темой времени, темой исторіи... Открывается въ стыдъ и тревогъ вся противоестественность раздъленій, не-примиримости и не-любви о Христъ... Но воля къ единству не можетъ и не должна оставаться только смутнымъ волненіемъ и трепетомъ сердца. И сентиментализмъ о Христъ есть прелесть и безсильный самообманъ. Единство о Христъ

осуществимо только въ трезвости и бдѣніи духовномъ. Воля къ единству должна прозрѣть и закалиться въ покаянномъ искусѣ и въ подвигѣ вѣры.

2. Врядъ ли кто станетъ спорить, что Христіанскій міръ долженъ быть и стать единымъ. Врядъли нужно доказывать, что подобаетъ или надлежитъ соединиться и возсоединиться... Но изъ этого безспорнаго постулата очень мудрено сдълать отчетливые и практическіе выводы. Въдь главная трудность въ другомъ: какъ можетъ Христіанскій міръ стать единымъ. То есть: что значитъ соединиться и быть едино о Христъ... Въ чемъ с м ы с л ъ этого возсоединенія... И гдъ пути или путь въ единство... Въ исторіи было немало, скоръе слишкомъ много, попытокъ возстановить Христіанское единство, осуществить нъкій «въчный міръ», хотя бы между христіанами. Но нужно сознаться сразу: эти попытки не были удачны. И ничто такъ не мъшаетъ дълу подлиннаго сближенія и соединенія, какъ именно эти неудачныя попытки, отъ которыхъ въ лучшемъ случаъ остается только горечь воспоминаній и усталая безнадежность... Во всякомъ случаѣ, прежде всего нужно уяснить и установить, въ чемъ смыслъ и суть этого трагическаго Христіанскаго раздѣленія, чѣмъ оно вызвано и вызывается, что собственно подлежить преодольнію. Съ такого покаяннаго и суднаго искуса во всякомъ случав приходится начинать, какъ бы тягостна и мучительна ни была эта автопсія Христіанскаго міра... Первое, что необходимо прочувствовать и понять съ самаго начала, — вопросъ о раздъленіи и соединеніи нельзя исчерпать и рашить въ однихъ только моральныхъ категоріяхъ. Это вовсе не есть только вопросъ миролюбія или терпимости. Такое втъсненіе «уніональной» проблемы въ несоотвътственныя моралистическія рамки есть ея искаженіе и опрощеніе. Историкъ долженъ прежде всего протестовать противъ всякой попытки такой поспъшной и односторонней морализаціи исторіи. Исторію Христіанскихъ раздъленій такъ же мало можно вывести и построить изъ начала нетерпимости, какъ и изъ начала гордости или властолюбія, или плотоугодія, или низости. Конечно, человъческія страсти со всею силой разряжаются и раскрываются и въ раздъленіи Христіанства. Но не въ нравственной порочности или слабости человъка первый источникъ этихъ Христіанскихъ схизмъ. Но въ заблужденіи... Такъ можно выразить эту мысль. Да, источникъ раздъленій — въ недостаткъ любви. Но не достаетъ прежде всего не любви къ ближнему своему, но именно любви къ Богу, — и потому помрачается духовный взоръ человъка и уже не узнаетъ онъ Небеснаго Отца своего, - въдь только чистые сердцемъ въ прозрачности своего сердца видятъ Бога. А не зная Отца, не знаетъ и не узнаетъ братьевъ. Иными словами, — источ-

никъ раздъленій и расколовъ — прежде всего въ разномысліи объ Истинъ... Раздъленіе Христіанскаго міра имъетъ прежде всего догматическій смысль. Это есть всегда раздѣленіе въ вѣрѣ, въ самомъ опытѣ вѣры, не только въ формулахъ и исповъданіи. Потому и преодолъвается раздъленіе не столько въ нъжности и братолюбіи, сколько въ согласіи и единомысліи, — въ духовномъ прозрѣніи, въ единствъ Истины... Слъдуетъ прямо сказать: единства любви и въ любви мало и недостаточно. Любить подобаеть и враговь, и даже враговъ Истины, — и любить ихъ именно какъ братьевъ, и томиться объ ихъ спасеніи и причтеніи къ сонму и лику Христову. Однако, такая любовь еще не образуетъ подлиннаго единства. Да врядъ ли и возможно подлинное единство любви безъ единства въ въръ и въры... И въ расколахъ всегда чувствуется въ основахъ разномысліе и разногласіе, разное видъніе и пониманіе. Потому и расколъ не можетъ быть искренно изжитъ въ одномъ сентиментальномъ братолюбіи и послушаніи, но только во внутреннемъ согласіи... Въ самомъ «уніональномъ» морализимъ есть свои «догматическія» предпосылки. Молчаливо предполагается, что для раздъленія не было и нътъ достаточныхъ основаній, что все раздъленіе есть только какое-то трагическое недоразумъніе, — что несогласія кажутся непримиримыми только отъ недостатка любовнаго вниманія другъ къ другу, не то отъ неумънія, не то отъ нежеланія понять, что при всемъ различіи и несходствъ есть достаточное единство и согласіе въ главномъ. Воть это выдъленіе «главнаго» и есть очень спорная предпосылка. И то, въ чемъ нътъ согласія, предлагается не считать главнымъ, тогда разногласіемъ и можно пренебречь... Такимъ образомъ, «морализмъ» есть всегда нѣкій догматическій минимализмъ, если и не прямой адогматизмъ. Питается и возникаетъ онъ именно изъ нѣкоего догматическаго нечувствія, или равнодушія, или близорукости. Можно сказать: изъ противоестественнаго расторженія и противопоставленія Истины и Любви. Но только въ Истинъ есть подлинная и духовная любовь, а не только дущевность и томленіе чувствъ... Морализмъ есть, строго говоря, своего рода догматическая установка, особое «исповъданіе», въ которомъ бъдность положительнаго содержанія уравновъщивается ръшительностью отрицаній. И моралисть не столько подымается выше и становится надъ раздъленіями, сколько просто привыкаетъ смотръть на нихъ свысока. Врядъли это свидътельствуетъ не то, чтобы о братолюбіи, но хотя бы о простомъ уваженіи къ въръ ближняго, которая минималистическимъ перетолкованіемъ снисходительно низводится до уровня частнаго мнѣнія или личныхъ взглядовъ, и въ такомъ качествъ терпится и пріемлется. Здъсь нътъ даже искренности достаточной... «Морализмъ» есть призывъ

соединяться въ бѣдности, въ обѣднѣніи, въ неимъніи, — не согласіе, но соглашеніе въ молчаніи и умолчаніи. Это есть равненіе по неимущему, по самому слабому. Иногда такой выходъ пріемлется изъ равнодушія: и какъ познать Истину. Часто берется подъ сомнъніе самая возможность общезначимыхъ сужденій въ догматикъ и даже въ метафизикъ, и сами догматы разръшаются въ моральные или моралистическіе символы и постулаты. Тогда, конечно, не приходится добиваться единомыслія и согласія въ этой области сомнительнаго и неръшеннаго. Ръже въ минимализмъ укрываются отъ страха и маловърія, въ отчаяніи достигнуть безспорнаго тамъ, гдъ всего больше было споровъ и размолвокъ. Словомъ, морализмъ есть воздержаніе, но не столько въ смиреніи и аскезъ, сколько въ равнодушій или сомнѣній. Впрочемъ, можно, ли соединиться въ отрицаніи и сомнъніи... Соединенія и общенія нужно искать въ богатствъ и въ полнотъ, не въ бъдности. Это значитъ: не чрезъ нисхожденіе и примѣненіе къ самому слабому, но чрезъ восхожденіе, чрезъ устремленіе къ самому крѣпкому. Образъ и примъръ есть и данъ только одинъ: Христосъ Спаситель... Есть спорные вопросы, по которымъ Церковь не дала и не имъетъ однозначныхъ и общезначимыхъ отвѣтовъ. И, однако, такъ же и здъсь вполнъ исключается скептическая неопредъленность, и не умъстно и здъсь успокоительное: ignorabimus... Ибо въдь вся полнота въдънія дана изначально въ опытъ и сознаніи Церкви, и должна быть только опознана. Вотъ въ этомъ опознаніи нуженъ максимализмъ... Итакъ, е д и н в ф р ф , не только единство в ъ любви. Но и единство въры еще не исчерпываетъ единства Церкви. Ибо единство Церкви есть, прежде всего, единство жизни, т. е. единство и общеніе таинствъ... Истинное единство можетъ осуществиться только въ Истинъ, — т. е. въ полнотъ и въ силъ, не въ слабости и недостаточности. Въ тожествъ мистическаго опыта и жизни, въ полнотъ «нераздъльной въры», въ полнотъ таинствъ. Подлиннымъ единствомъ можетъ быть только это единство таинствъ, принимаемыхъ во всей полнотъ ихъ іератическаго и теургическаго реализма. Ибо это есть единство въ Духъ, истинное «единеніе Духа»... Въ «морализмъ» есть и еще изъянъ. Въ немъ слишкомъ много благодушія и оптимизма. Примиреніе кажется близкимъ, возможнымъ и нетруднымъ,--ибо нътъ достаточной серьезности и мужества въ самомъ воспріятіи и видъніи раздъленія. Морализмъ не достаточно трагиченъ, и трагизмъ вообще плохо вмѣщается въ предѣлы морали, даже и моральный трагизмъ, это скорѣе самое ясное свидѣтельство объ ограниченности морали, какъ таковой... Возсоединеніе возможно только чрезъ опыть и подвигъ р в ш е н і я р в шенных в опросовъ, а не чрезъ воздержаніе

или уклоненіе отъ нихъ. Здѣсь есть нѣчто искомое, что еще предстоитъ найти и опредѣлить. Самое раздѣленіе свидѣтельствуетъ о наличности вопросовъ. Въ раздѣленіи и расколѣ есть проблемати и ка. Ее нельзя не упразднить, ни подмѣнить сентиментализмомъ. Есть подлинныя апоріи единства о трудности. Путь труденъ, горній путь... Путь мужества и дерзновенія.

3. Задача Христіанскаго возсоединенія практически приводится, прежде всего, къ примиренію и преодолѣнію обоихъ великихъ Западныхъ расколовъ. Раскола Запада и Востока, Рима и Византіи, т. наз. «Раздѣленія церквей», во-первыхъ; и Реформацій во-вторыхъ. Всего важнъе именно это возсоединеніе Христіанскаго Запада. Меньшее и не самостоятельное значеніе можетъ имъть замиреніе Восточныхъ раздъленій, возникшихъ однажды въ пылу древнихъ Христологическихъ смутъ и споровъ, но съ тъхъ поръ длящихся больше по исторической инерціи. Давно уже нътъ въ нихъ собственной религіозной проблематики, и держатся они скоръе немощью націоналистической исключительности (такъ Армянская церковь, Яковиты, Эеіопская церковь и др.)... И вотъ спрашивается теперь, что же значитъ Римъ и что значитъ Реформація въ перспективахъ искомаго Христіанскаго соединенія... Проще вопросъ о Реформаціи, хотя и не легче. Обычно въ Реформаціи видять самоутвержденіе и нѣкое самодержавіе личности въ религіозной жизни, проявленіе и торжество религіознаго индивидуализма. При этомъ вполнъ понятнымъ становится преобладаніе въ Протестантизмъ центробъжныхъ, разъединяющихъ и уединяющихъ силъ. Иначе сказать, Реформація сказывается прямой противоположностью Соединенія. И, стало быть, Возсоединеніе тізмъ самымъ оказывается преодолізніемъ и даже отрицаніемъ Реформаціи, оказывается и должно оказаться обращеніемъ и возвратомъ... Въ такой характеристикъ много правды. Но не вся правда, и не послъдняя правда. Ибо совсъмъ не самопревозношеніе, но именно самоуничиженіе человъка было начальной предпосылкой и движущимъ духомъ Реформаціи. Протестантизмъ рождается изъ духа антропологическаго минимализма. Реформація есть прежде всего это признаніе и утвержденіе безысходной грѣховности и безпомощности человъка. И во Христъ человъкъ отпускается на свободу, но не преображается. Становится вольноотпущенникомъ, — но откуда взять ему благородство рожденныхъ въ свободъ... Протестантизмъ въ извъстномъ смыслъ можно опредъгипер-зсхатологизмъ. значитъ, конечно, что Реформаціонное сознаніе какъ то особенно занято или возбуждено эсхатологическими чаяніями и взысканіями. И не склонность или тяготфніе къ хиліазму. Однако, Второе Пришествіе въ протестантскомъ сознаніи почти что за-

слоняетъ Первое. Чувствуется настороженность, какъ бы не преувеличить смыслъ уже свершившагося. И преображеніе міра и человѣка вполнѣ отодвигается ко Второму Пришествію. Потому реальность Церкви умаляется въ предчувствіи Грядущаго Царствія и «будущаго въка». Отсюда своеобразный докетизмъ и чуть ли не иллюзіонизмъ въ воспріятіи и толкованіи таинствъ. Таинства оказываются скоръе знаменіями ожидаемаго, символами, а не печатію одержанной побъды... И вотъ, именно этотъ «сакраментальный символизмъ» и является разобщающей и разъединяющей силой въ Протестантизмъ. Разрывъ священноначалія въ этомъ отношеніи гораздо болъе былъ важенъ и опасенъ, чъмъ пробуждение своевольнаго и мятежнаго «я». Ибо едина и соединяется Церковь именно въ «единеніи Духа», т. е. въ непрерывности жаризматическихъ токовъ, въ непрерываемомъ общеніи таинствъ. Въ борьбѣ и разрывъ Реформаторовъ съ Римомъ такъ случилось, что были прерваны и нарушены связи съ самой Пятидесятницею... Вотъ почему только чрезъ возстановленіе Священства, Священноначалія и Священнослуженія, Протестантизмъ можеть возвратитьвъ Церковь. Нужно сказать именно это слово: возвратиться, — ибо Реформація была объективнымъ выходомъ изъ общенія таинствъ. Недостаточно одно взысканіе Церкви и жажда церковности, мало даже догматическое возстановление и проэръніе. Въдь мало увъровать, но необходимо креститься, — и возрождается человъкъ не силой своей въры, но дъйствіемъ крещальной благодати Божіей. И не достаточно даже возлюбить Господа, — обручение въчной жизни преподается не въ этой любви и не въ одной въръ, но только въ таинствъ Плоти и Крови. Церковь жива и едина именно въ Крови Господней, въ Евхаристической Крови, — и гдъ не совершается Евхаристія, тамъ нътъ Церкви... И совершение Евхаристии предполагаетъ сакраментальное Священство, — и тёмъ самымъ неповрежденность или возстановление Апостольскаго преемства... Иначе сказать: изъ Реформаціи, какъ изъ «дальней стороны», подобаеть вернуться въ Церковь, — при-соединиться Ней. Здъсь можно и приходиться говорить только о присоединеніи... Повторимъ еще разъ: единомыслія и единодушія еще мало, еще не достаточно единства въ чувствахъ и въ въръ, -- все это только пред-условіе воз-соединенія; а самое соединеніе совершается только въ единствъ и общеніи таинствъ. Вотъ почему немощнымъ и обреченнымъ остается и останется т. наз. «Высоко-церковное движеніе» въ современномъ нѣмецкомъ протестантизмъ. Романтическое возстановление и репоэтизація обряда есть только свидътельство покаянія и обращенія души. Но это не больше, чъмъ только сакраментальная обстановка. Если угодно: ожиданіе Царя и Царскаго входа... Но Царь не

приходитъ... И бдѣніе у вратъ. Но врата замкнуты, остаются непроходными... Ничѣмъ нельзя замѣнить реальность таинствъ и тайнодъйствій... Протестантизмъ не на одно лицо, — скорѣе можно говорить о какомъ то калейдоскопѣ личинъ и ликовъ. При всей прямолинейности и радикализмѣ Реформаціонной логики, пути Протестантизма въ исторіи извилисты и вьются. И не безъ насильственнаго упрощенія можно подвести подъ единое и общее понятіе протестантизмъ разныхъ странъ, — особенно ясно чувствуется глубокое расхождение Нъмецкаго и Англо-саксонскаго протестантизма. Въдь только въ Нъмецкомъ Протестантизмъ игралъ опредъляющую роль философскій мотивъ. Правда, это было въ значительной мъръ уже уходомъ отъ Реформаціи. Но и самый уходъ этотъ былъ только послѣдованіемъ Реформаціоннымъ началамъ, парадоксальнымъ обращеніемъ этихъ началъ. Трагическая и пугающая диссолюція скорѣе, чѣмъ эволюція, Нѣмецкаго Протестантизма «отъ Реймаруса и до Вреде» есть особая тема и проблема своего рода. Сейчасъ мы говоримъ о самой Реформаціи. Изъ Реформаціи нужно вернуться. И даже «евангелическій католицизмъ» есть только робкій и неувъренный шагъ. И вотъ что еще нужно прибавить: возвратиться въ Церковь можно только открыто и прямо, не въ порядкъ уступокъ, соглашеній, приспособленія и компромиссовъ. И вотъ только компромиссомъ является всякая попытка воскресить въ Протестантизмъ съмя и дыханіе Священства чрезъ обращение къ побочнымъ и увядающимъ вътвямъ Церкви. Противоестественно возстанавливать Апостольское преемство въ Германіи или въ Англіи чрезъ Цейлонское или Малабарское рукоположеніе. Это есть попытка скоръе похитить, нежели обръсти благодать. И во всякомъ случаъ къ Возсоединенію это путь далекій и врядъ-ли прямой и върный. Въдь въ самыхъ предпосылкахъ какъ бы признанъ фактъ раздъленія и разобщенія... Проблема выхода изъ Реформаціи неразрывно связана съ проблемой Рима. Ибо недостаточно выйти, но надлежить именно вернуться. И воть, на Западъ всего ближе вернуться именно въ Римъ. Именно поэтому немногіе возвращаются. Не всегда есть только неправда въ этомъ воздержаніи отъ возвращенія черезъ Римъ, то есть собственно въ Римъ. Ибо «Римъ» въдь дъйствительно нуждается въ нъкоей «реформаціи», — «во главъ и въ членахъ». И не подобаетъ осуждать слишкомъ торопливо тъхъ, кто соблазняется о немощахъ и заблужденіяхъ Рима. Однако, Римъ безмърно и несоизмъримо богаче Реформаціи. Реформація есть оставленность, вольно избранная и изволенная. Это домъ, оставленный и оставшійся впусть. Это храмъ опустьвшій и даже опустошенный. Но Римскій храмъ никакъ не пустъ и не оставленъ. Облако славы Божіей все еще надъ скиніей. Духъ Божій дышеть въ Римскомъ

Католицизмъ, и этому не могутъ помъшать и всъ нечистыя испаренія пагубныхъ страстей и извращеній челов вческихъ. Спасительная нить Апостольского преемства не прервана. Таинства совершаются. Безкровная жертва приносится и возносится. И кто дерзнетъ сказать и сдълать оговорку: но не пріемлется въ пренебесный и мысленный Жертвенникъ, въ воню благоуханія духовнаго. Святыня еще во храмъ. Итакъ, во всякомъ случаъ путь въ Римъ и черезъ Римъ не есть путь мнимый... Немощь и неправда Реформаціи въ томъ, что это было дѣло человъческое, только человъческое, слишкомъ человъческое, хотя бы и состояло оно въ самоуничижении и самоотрицаний. И неправда Рима есть тоже неправда человъческая, и другой неправды и не бываеть, — «Правда Твоя правда во въки, и слово Твое истина»... Но въ Римъ есть и правда Божія... Римъ неправъ въ въръ и немощенъ въ любви. Но Римъ не безъ благодати, не внъ благодати... Какъ бы то страннымъ ни показалось, расколъ Запада и Востока есть расколъ и раздѣленіе въ вѣрѣ и оскудение въ любви, но это не есть расколъ въ благодати и таинствахъ, не есть раздъленіе Духа. И Духъ Утъшитель единъ и нераздъленъ даже въ расколъ. Страннымъ образомъ, скрыто осуществлено самое важное: нераздъльность благодати, несмотря на то, что меньшее и, казалось бы, болве легкое, ибо человъческое, не осуществлено. Богъ и донынъ соединяетъ то, что распалось въ дълахъ и мысляхъ человъческихъ... Если для Протестантизма путь соединенія въ стяжаніи Священства и возстановленіи таинствъ, то расколъ Запада и Востока разрѣшимъ въ стяжаніи догматическаго единомыслія и въ братолюбіи до нѣжности... Риму и Востоку подобаеть и «остается» соединиться въ человъческомъ подвигъ... Сказаннымъ нисколько не ослабляется вся реальность раздъленія съ Римомъ. И можетъ быть именно потому такъ трудно встръчаться съ Римомъ, что вся сила раздъленія именно въ человіческомъ, въ человіческой энергіи... Въ Романизмъ есть нъчто антиномическое и, во всякомъ случаъ, парадоксальное. Римъ весь въ стремленіи къ единству. Римъ есть нъкій символъ единства и соединенія. Римъ чрезъ всю исторію ищеть единства. Именно Римъ больше всего ищетъ и взыскуетъ единства — и во всякомъ случаъ, въ этомъ взысканіи много справедливаго и рєвностнаго. Но віздь именно это настойчивое и торопливое Римское взысканіе христіанскаго единства и Церковнаго мира больше всего препятствуетъ и мъщаетъ возсоединенію и единству. Римская торопливость всего болъе замедляетъ и задерживаетъ возсоединительный процессъ. Ибо не то единство, и не на тъхъ путяхъ ищутъ въ Римъ и изъ Рима. Въдь основная и главная неправда и неправота Рима была и есть именно о единствъ церковномъ. И догматъ о Папъ есть именно лже-догмать о единствъ Церкви... Изъ ска-

заннаго первый выводъ приходится сдълать о крайней необходимости догматическаго и богословскаго «объясненія» съ Римомъ. Въ этомъ отношеніи очень показателенъ и поучителенъ примъръ неудавшихся и неудачныхъ богословскихъ встръчъ православныхъ и старо-католиковъ сразу же послъ Ватиканскаго собора (Боннскія конференціи 70-хъ гг.). Въ тогдашнемъ обмѣнѣ мнѣній сразу выяснилось, что главное препятствіе къ сближенію и соединенію сосредоточено именно въ догматической области, - въ томъ, что въ своемъ догматическомъ міровоззрѣніи Старо-католики оставались ограниченными Романистами, слишкомъ Западными людьми, и не были способны вмъстить Востокъ ни въ свое сознаніе, ни въ свою совъсть иначе, какъ въ порядкъ компромисса. Здъсь сразу и Западническая замкнутость сердца, и погръшность въ самыхъ догматическихъ предпосылкахъ. Конечно, и гордость своей Западной исторіей, своей исторической славой и дълами, своимъ христіанскимъ героизмомъ и рыцарствомъ. Но главное именно въ догматическихъ предпосылкахъ, въ самой изначальной догматической установкъ. Здъсь неправота и неправда въ самомъ догматическомъ опытъ, — не только въ отдъльныхъ и догматическихъ опредъленіяхъ. Поэтому такъ опасенъ и безплоденъ путь догматическаго минимализма, когда стараются ограничить догматическое единомысліе и согласіе возможно болѣе тѣснымъ и узкимъ кругомъ вполнъ «необходимыхъ» истинъ въры, чтобы за ихъ предълами допустить «свободу въ сомнительномъ». Ибо такое различение или разграничение было бы возможно только въ томъ случаъ, если бы въроучение было неорганической совокупностью или аггрегатомъ обособленныхъ догматическихъ утвержденій или положеній. Но въра и въроученіе есть органическое цълое. И упорное разногласіе въ догматическихъ «подробностяхъ» заставляетъ усомниться, дъйствительно ли есть полное и искреннее согласіе въ самомъ опыть въры, не только въ формальныхъ предпосылкахъ и, если умъстно такъ выразиться, въ догматическихъ контурахъ. И совсъмъ не безразлично и не «не-необходимо» то, что внутри контура, что этотъ контуръ обводитъ. Ръчь идетъ не столько о постепенности и послѣдовательности въ логическихъ дедукціяхъ и развитіи, сколько о первичной четкости, «ясности и отчетливости», самого върующаго узрънія, т. е. самого Откровенія. Въ поясненіе достаточно одного примъра. Нельзя относить къ числу «сомнительнаго», или «не-необходимаго» такой, казалось бы, внъшній догмать, какъ догмать о св. иконахъ. Не потому, конечно, что св. иконы, ихъ признаніе и употребленіе, «безусловно необходимы для спасенія». Но потому, что упорное и несговорчивое стремленіе сдвинуть ученіе о св. иконахъ куда то подъ порогь догматическаго сознанія свидѣтельствуеть о несомнѣн-

ной неясности въ разумъніи уже вполнъ безспорныхъ догматовъ въры, внъ которыхъ писаніе и почитаніе иконъ не можетъ быть оправдано. Короче говоря, соблазнъ объ иконахъ есть всегда въ извъстномъ смыслъ соблазнъ о самомъ Воплощеніи, о Богочеловъчествъ, есть нъкое гнушеніе объ историческомъ и чувственномъ. Во всякомъ случав не цвлесообразно такіе вопросы откладывать и замалчивать... Нельзя и не слъдуетъ обходить и самые безспорные начатки въры. Ибо и здъсь неожиданно можеть вскрыться глубокое несовпаденіе и несогласіе. И снова достаточно одного примъра. Въ самомъ общемъ «понятіи» о Богъ есть существенная несогласованность между Западомъ и Востокомъ. Вспомнимъ споры XIV-го въка о Свътъ Оаворскомъ и, какъ о предпосылкахъ ученія о немъ, о различіи въ Божествъ сущности и энергіи. Это совсъмъ не былъ схоластическій споръ и о не-нужномъ и не-важномъ. Здъсь во-истину встрътились и столкнулись не только двъ богословскія системы, но и два міровозэрінія, два опыта. И встріча была не только на полемической поверхности, но и въ большихъ глубинахъ. Вскрылось непримиримое и бользненное разногласіе. Вопросъ поставленъ. Не годится обходить его. А нечувствіе къ его остротъ и важности свидътельствовало бы только объ общей религіозной нечуткости и нечувствительности... Такимъ образомъ, догматическое «объясненіе» Востока съ Римомъ должно быть именно цълостнымъ и все-объемлющимъ, органическимъ прежде всего. Невърно и нецълесообразно формалистически сводить всъ расхожденія къ опредъленнымъ параграфамъ, о которыхъ только будто и подобаетъ согласиться. Непріемлемо въ Римъ именно что то основное и начальное, а не только тъ или другія положенія и теологумены. Ибо въдь прежде всего непріемлемо Папство... Нужно найти основную бользненную точку въ Римскомъ опытъ. Кажется, ее можно разгадать и показать. Снова здъсь предъ нами извъстная неожиданность. Въ Римскомъ сознаніи невполнѣ укръплено и выражено чувство, что Христосъ и по восшествіи на небеса реально и непосредственно, хотя и невидимо, пребываетъ и правитъ въ «исторической» и земной Церкви. Какъ будто въ Вознесеніи онъ ушелъ и вышелъ изъ исторіи, до «парусіи», до возвращенія. Какъ будто исторія оставлена. Какъ будто въ исторіи мало что изм'єнилось. Это можно назвать гиперисторизмомъ. Отсюда потребность и возможность извъстнаго замъщенія Христа въ исторіи, — идея «Намъстника»... Римское или латинское христіанство совсѣмъ не однозначно. И нельзя свести все многобразіе и всю полноту мистической и богословской жизни въ Римскомъ христіанствъ къ какой-нибудь одной «идеъ». И во всякомъ случаъ папизмомъ Римъ не исчерпывается. Но вмъстъ съ тъмъ именно папизмъ есть самое своеобразное въ Западномъ чувствъ Цер-

кви, въ Западной «церковности». Папизмъ свидътельствуетъ о нечувствіи Христа въ исторіи. Съ другой стороны, въ немъ сказывается преувеличение смысла іерархических харизмъ. Здъсь своего рода каноническій монтанизмъ... Во всякомъ случаъ «Ватиканскій догматъ» есть не только опредъленіе и формула, но и мистическое признаніе и свид'єтельство. Папизмъ есть не только фактъ каноническій, но и мистическій... И потому здісь не такъ важно каноническое или историко-догматическое опроверженіе, сколько именно глубочайшее преображеніе самого чувства Церкви, возвращение къ полнотъ Христологическаго видънія... Въ Западномъ опытъ есть большая Христологическая неясность. Она связана съ общимъ воспріятіемъ исторіи. Для Западнаго благочестія вообще характерно созерцаніе Христа въ Его евангельскомъ уничиженіи, въ Геесиманіи, на Голгоеъ, въ терновомъ вънцъ. Недостаточно чувствуется Воскресеніе, побъда надъ тлъніемъ и смертью. Самая страсть и смерть Спасителя воспринимается слишкомъ исторически («натуралистически»). И потому Вознесеніе воспринимается какъ выходъ изъ эмпиріи... Здъсь главная тема для «объясненія» съ Римомъ... И для Рима путь возсоединенія есть путь возврата. — возврата къ истокамъ... Это должно быть прежде всего преображеніемъ догматическаго сознанія и опыта. И заново должны быть пережиты и передуманы всъ древнія темы, темы эпохи древнихъ Вселенскихъ соборовъ, которыя въ свое время не были изжиты на Западъ... Въ Римской концепціи церковнаго единства невърно и непріемлемо не только каноническое или юридическое суженіе перспективъ. Гораздо важнье и опаснье нечувствіе всей серьезности раскола и расхожденія между Западомъ и Востокомъ. Своего рода мистическое нечувствіе. Отсюда такой примитивизмъ и упрощеніе въ уніональныхъ замыслахъ и проектахъ. Можно сказать: не столько чрезмърная требовательность, но именно чрезмърная мистико-догматическая нетребовательность или снисходительность есть неправда Рима и его уніональной тактики... Вотъ именно проблема Христіанскаго возсоединенія превращается въ проблему и заданіе церковной тактики или дипломатіи, пастырской педагогіи или «Христіан-(какъ выражался Владиміръ Соловьевъ). Ской политики» Въ частности этотъ упрекъ вполнъ относится къ новъйшимъ и современнымъ опытамъ «Восточнаго обряда». Здъсь есть роковой самообманъ. Либо, дъйствительно, обрядъ остается только обрядомъ, — тогда никакого «соединенія» не происходитъ, и самый обрядъ деформируется, превращается или вырождается въ церемоніалъ, выдыхается, обезсмысливается. Либо обрядъ воспринимается во всемъ своемъ іератическомъ реализмѣ, но тогда неминуемо разрываются грани Западнаго или Римскаго самочувствія. Въ обоихъ случаяхъ не получается со-единенія:

Оказывается, что въ дѣйствительности Римъ совсѣмъ не владѣетъ «Восточнымъ обрядомъ». Это совсѣмъ не «обрядъ», но живая реальность иного не-Римскаго христіанства... Больше послѣдовательности и чуткости у сторонниковъ простой латинизаціи. Это болѣе трезвая точка зрѣнія... Расколъ Запада и Востока не въ обрядѣ и не только въ юрисдикціи, но именно въ вѣрѣ и опытѣ.

4. Основная трудность въ ученіи о Христіанскомъ Возстановленіи есть трудность о предълахъ или ницахъ Церкви. Это вся проблематика св. Кипріана Кареагенскаго. Основную мысль св. Кипріана можно такъ выразить: каноническая грань Церкви тьмъ самымъ и харизматическая, такъчто всякая «схизма» тъмъ самымъ есть полное выпаденіе изъ Церкви. Есть уходъ изъ той святой земли, изъ того святаго и священнаго Града, гдъ бъетъ святой источникъ, ключъ священной воды, мистическій Іорданъ. Потому у схизматиковъ только «нечестивая вода» во оскверненіе, а не во омовеніе скверны. Сразу за каноническимъ предъломъ начинается міръ безблагодатный, естественный...Практическіе выводы св. Кипріана никогда Церковью приняты не были, и правила Церковныя о возсодиненіи раскольниковъ и еретиковъ молчаливо предполагаютъ, что Духъ дышеть и въсынахъ противленія...Признаніе «схизматическихъ» таинствъ нельзя объяснить одной «икономіей», — здісь не можетъ быть никакого двусмысленнаго «прагматизмв», никакого «Als Ob»...Однако, вмъстъ съ тъмъ, разсуждение св. Кипріана врядъ ли можно считать опровергнутымъ. Конечно, его предпосылки нужно съузить и уточнить. Но самая послъдовательность мысли остается не нарушенной. И блаж. Августинъ въ своей полемикъ съ донатистами въ сущности вовсе не такъ уже далеко уходилъ отъ Кипріана... Вотъ почему есть неразрѣшенное натяжение между догматикой и практикой въ данномъ случаъ, — натяжение, не противоръчие. Церковь свидътельствуетъ. что таинства совершаются и въ расколахъ, и даже у еретиковъ, - пусть и не во спасеніе, какъ разъясняеть блаж. Августинъ, но въдь совершаются Духомъ Святымъ, которой стало быть и въ схизмъ остается животворить. Но не объясняетъ, какъ это возможно. Не такъ загадочно, что есть надежда спасенія «внъ Церкви», extra Ecclesiam, — сколько именно этотъ фактъ Животворящаго пребыванія Духа единства въ схизмъ. Это основная антиномія въ ученіи о Церкви. И не годится этотъ антиномическій и парадоксальный фактъ перетолковывать въ духъ и смысль извъстной «теоріи церковныхъ вытвей», Church—branch— —theory. Это будеть совсьмъ незакономърной экстраполяціей. «Теорія церковныхъ вътвей» слишкомъ оптимистически и благополучно представляеть себъ расколъ Христіанскаго міра.

Нѣтъ равноправныхъ «вѣтвей». Вѣрнѣе сказать: заболѣвшія вѣтви не сразу засыхаютъ. Именно въ этомъ основной фактъ. Каноническое обособленіе, потеря «соборности», т. е. каеолической цѣльности, потускнѣніе и примраченіе догматическаго сознанія, даже прямое заблужденіе, — вся эта человѣческая неправда и неправота еще не останавливаетъ и не преграждаетъ круговращенія Духа. Однако, это уже не фактъ каноники, и не можетъ быть учтенъ для построенія «нормальной» схемы Цертовътомый становать сверуть каноника петовѣтомый предовѣтомый петовѣтомый петовътомы петовътом пе кви. Это фактъ сверхъ-каноническаго исключенія, недовѣдомый пока въ исторіи. Лучше всего сказалъ объ этомъ Хомяковъ. «Такъ какъ Церковь земная и видимая не есть еще полнота и совершеніе всей Церкви, которымъ Господь назначилъ явиться при конечномъ судъ всего творенія, то она творить и въдаетъ только въ своихъ предълахъ, не судя остальному человъчеству (по словамъ апостола Павла къ Коринеянамъ) и только признавая отлученными, т. е. не принадлежащими ей, тъхъ, которые отъ нея сами отлучаются. Остальное же человъчество, или чуждое Церкви, или связанное съ Нею узами, которыя Богъ не изволилъ Ей открыть, преторыя Богъ не изволилъ Ей открыть, преторыя доставляетъ Она суду великаго дня» (Церковь одна, § 2). Да, есть узы недовъдомыя, неразрываемыя отступленіемъ и расколомъ... Но тымъ менье подобаетъ успокаиваться и утышаться объ этой недовыдомой связи, небречь объ этомъмилосердномъ дарь единства. Но нужно стремиться осуществить, раскрыть и исполнить это единство въ полноту Церкви, торжествующей въ Духѣ и истинъ и на землѣ и въ историческомъ свидѣтельствъ... Съ этой точки эрѣнія важнѣе всякое реальное «общее дѣло», чѣмъ даже прямая постановка вопроса о возсоединеніи... Ибо всего важнъе именно самая реальность единства и върности хотя и въ маломъ... Въ этомъ отношеніи учено-богословское сотрудничество и взаимность есть несомнънно реальный «уніональный» актъ, поскольку осуществляется солидарность хотя бы въ стремленіи къ истинъ Христовой... Вопросъ о возсоединеніи всего цълесообразнъе ставить именно какъ вопросъ истины, — искать Истину, и Она не только освободить, но и соединить, ибо Истина едина и есть единство... Для возсоединенія в с е въ эмпирическомъ Христіанствъ должно перемъниться, — скажемъ иначе: преобразиться. Возсоединение нельзя мыслить, какъ соединение нынъшнихъ эмпирическихъ реальностей. И въ понятіи при - соединенія все же больше точности и четкости, чемъ въ понятіи простого со-единенія. Здесь остается неяснымъ: к т о соединяется. А при-соединеніе мыслится къ Истинъ... Возсоединение возможно только въ Духъ и силъ, во вдохновеніи и святости. Потому врядъ ли къ нему придутъ на богословскихъ конференціяхъ, на съъздахъ і врарховъ, врядъ ли въ Лозаннъ и не въ Стокгольмъ.... И если возсоединенію суждено совершиться въ исторіи, то во всякомъ случаѣ это будеть уже въ эсхатологическихъ сумеркахъ и въ канунъ Парусіи. Ибо это будеть уже предвареніемъ и предвосхищеніемъ потустороннихъ судебъ... Здѣсь многое неясно и уясняется каждому въ его молитвенномъ бдѣніи и искусѣ... Этимъ не ослабляется рѣшительность заповѣди: «Итакъ, выйдемъ къ Немуза станъ, нося Его поруганіе. Ибо не имѣемъ здѣсь пребывающаго Града, но взыскуемъ грядущаго» (Евр. XIII. 13).

Январь 1933.

Священникъ Георгій Флоровскій.